

ВИКТОРИЯ ПЛАТОВА

Что скрывают
красные маки



Виктория Евгеньевна Платова
Что скрывают красные маки
Серия «Завораживающие
детективы Виктории Платовой»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9244841

Что скрывают красные маки/ Виктория Платова: Эксмо; Москва;

2017

ISBN 978-5-04-088534-3

Аннотация

Виктория Платова – писатель с уникальным взглядом на жанр детективного романа. Избегающая штампов и клише, индивидуальная, не похожая ни на кого, она по праву считается одним из лучших мастеров современного российского детектива. Ее книги издаются в Европе, по ним снимаются фильмы, их номинируют на ведущие литературные премии, такие как «Русский Букер».

Что скрывают красные маки?..

Боль...

Страх...

Предательство...

Убийство...

В разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых женщин с перерезанным горлом. Капитан полиции Бахметьев, следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются вычислить преступника и разгадать его игру. То, что он играет в жестокую и опасную игру, становится очевидным, когда находят третью жертву – актрису Анастасию Равенскую. Нарочито театрально обставлены все убийства: горло жертвы перерезано опасной бритвой и слегка присыпано землей, рот забит стеклянными шариками. И, наконец, «Красное и зеленое». Сочетание цветов, давшее неофициальное название этому делу. Запястья жертв как личной меткой убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором все же можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле...

Содержание

Пролог	5
Часть первая	20
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Виктория Платова

Что скрывают красные маки

Пролог

INTRO. SLEEPING LOTUS. 2:32

1989 г. Август

Манакин

...

– Заткните уже этого дятла малолетнего. Кто-нибудь заткнет или нет? Надоело слушать его скулеж.

– *Какого черта, Акела? Он же молчит. Давно молчит. И будет молчать. Никому ни о чем не расскажет. Никогда. Я обещаю.*

– Решил за него вписаться? С чего бы?

– *Он ни при чем, Акела. Он вообще не должен был...*

– Вот именно. Не должен. Твой косяк, Шух. Ты сегодня знатно накосячил, брателло.

– *Какой же ты гад... Сволочь.*

– Интересное кино. Ты убил, а я – сволочь?

– *Это... это был несчастный случай.*

– Угу. Скажи еще, что это она вызвала тебя сюда гребаной запиской.

– *Несчастный случай, слышишь?*

– Ментам будешь объяснять, чувак. Не мне.

– *Гад! Гаа-ад!..*

– Тебе лучше не злить меня, брателло. Я пока еще на твоей стороне. Пока.

– *Хорошо. Просто скажи, что делать.*

– Для начала заберешь свои слова назад. «Сволочь», и все такое...

– *Да. Конечно. Прости.*

– Что ты там бормочешь себе под нос? Не слышу.

– *Прости меня.*

– Считай, что простил. Мы же друзья? Друзья, да?

– *Да. Я не хочу ментов. Хочу, чтобы всего этого не было.*

– Хех. Это уже есть, брателло. И ничего тут не поделаешь.

Не исправишь, вот оно что.

– *Не называй меня так. Брателло... Дурацкое слово.*

– Не нравится, да?

– *Да.*

– А мне – так в самый раз. Ты накосячил, брателло. Ты – убийца.

– *Это был несчастный случай. Несчастный случай. Несчастный случай.*

– Стукнись башкой о камень, полегчает.

– *Ты ведь подтвердишь это, да?*

– Конечно. Так и скажу. Брателло Шух не так чтобы очень виноват. Ну, зазвал девчонку в лес. Просто проверить, на что она пойдет ради него. Шух ведь у нас знаменитость, а ради знаменитости – чего не сделаешь? Она ведь могла и не пойти, так?

– *Да! Свободно могла не пойти.*

– За руки ее не хватали.

– *И в мыслях не было.*

– Сучка, да?

– *Сучка! Сучка!*

– Конченная сука. Любительница покрутить динамо. Больше всего таких ненавижу. Сказала «а», говори «б». И избежишь ненужных проблем. Верно?

– *Так и есть, Акела. Так и есть! Она сама во всем виновата. Сама!*

– Не ори. Чего теперь орать? Дело сделано. Ты ее убил.

– *Это был несчастный случай! Ты же сам все видел.*

– Нет. Не видел.

– *Ты же... Ты же сам подначивал! Гад! Га-аад!..*

– Опять за свое?

– Прости. Прости, пожалуйста.

– Я не видел, но готов подтвердить все, что ты скажешь.

И Мокша подтвердит. Он, конечно, дурачок, но дуракам как раз верят. Больше, чем умникам. Больше, чем знаменитостям. Уж не знаю, почему так. Мы подтвердим, брателло, не вопрос. Весь твой лепет про несчастный случай подтвердим. Но только это не поможет.

– Нет?

– Не-а. Потому что она мертвая – в тех кустах. Кина не будет, брателло Шух. Конец ему. Забудь о нем навсегда.

– Не хочу я забывать.

– А придется. Карьера твоя накрылась, тут к гадалке не ходи. Кто станет смотреть фильм с убийцей в главной роли? Разве что Мокша. Но Мокша – дурачок. А остальные – не дураки.

– Ты ведь поможешь мне, Акела?

– С чего бы?

– Мы друзья. Друзья. Ты сам это сказал.

– А ты что думаешь?

– Так и думаю. Мы друзья.

– До тех пор, пока лето не кончилось?

– Нет. Нет!

– До тех пор, пока съемки не свернули?

– Навсегда, Акела. Навсегда. Помоги мне. Скажи, что делать.

– Если ты забудешь, что сказал...

– *Я не забуду.*

– Если забудешь – я напомним.

– *Не придется напоминать.*

– Лады, брателло. Иди, копай.

– *Не понял?*

– Зароем сучку, как будто ее и не было. Чего непонятного?

– *Как будто и не было, да. А... если ее найдут?*

– Не найдут. Места здесь глухие. И с войны много чего в земле осталось: наступишь случайно – на молекулы разнесет. Или... что там меньше молекул?

– *Не знаю. Атомы.*

– Во! Умник, да?

– *Нет.*

– Ну, не важно. А важно, что лишний раз сюда соваться резона нет. Иди, копай, умник.

– *Руками?*

– Нет, за лопатой сгоняем. Может, тебе еще экскаватор подогнать?

– *Вряд ли получится... руками.*

– Получится. Земля мягкая, всяких палок полно. Справишься.

– *Ты... не поможешь мне?*

– Я и так уже помог тебе, брателло.

– *А Мокша? Может, он...*

– Нет. И надо решить, что делать с сопляком.

– *Он будет молчать...*

– Иди, копай.

– *Просто не трогай его. И Мокша пусть не трогает.*

– Никто его не тронет. Не волнуйся. Никто его не тронет, кроме тебя.

– *Что... ты имеешь в виду?*

– Ты должен решить и эту проблему. Вот что.

– *Нет никакой проблемы...*

– Она есть, брателло. Если малолетка откроет пасть – ее будет не захлопнуть. А он откроет. Стопудово.

– *Не факт.*

– Хочешь испытать судьбу?

– *Я поговорю с ним. Он привязан ко мне...*

– Сучка тоже тобой восхищалась. И что мы имеем в сухом остатке?

– *Это не одно и то же. Это – совсем другое. Совсем.*

– Ну да, ну да. Сколько ему?

– *Я не знаю точно. Может, семь. Или около того.*

– Хреново. Я в семь лет соображал не хуже, чем сейчас. Два и два складывал без посторонней помощи. И он все сложил наверняка. Благодарю Мокшу, что вовремя его заметил. И вовремя ухватил за шкирбот. Иначе бы нас... Тебя... ждали бы крупные неприятности.

– *А сейчас?*

– Сейчас есть возможность их избежать. Если ты, конечно, решишь проблему, брателло.

– *И как ты предлагаешь ее... решить?*

– Ты знаешь ответ.

– *Понятия не имею, о чем ты.*

– Два и два, Шух. Сложи два и два.

– *Что-то не складывается, Акела.*

– Лады. Я сегодня добрый и потому даю подсказку: чтобы пасть не распахнулась в самый неподходящий момент, ее надо закрыть. Навсегда. Теперь ясно?

– *Га-ад! Га-аад!*

– Стукнись башкой о камень...

– *Не полегчает от этого! Не полегчает. И ты не заставишь меня...*

– Я? Да я даже париться не буду. Сейчас свистну Мокше, и он отпустит сопляка. И конец твоему кино. Ни в одном фильме больше не снимешься, даже на сраный эпизод не возьмут. Так мне свистеть?

– *Погоди. Я поговорю с мальчишкой. Мы с ним неплохо ладим. Он слушает меня.*

– А, да. Кем вы там друг другу приходитеесь в вашей дебильной киношке?

– *Братьями. Он – мой младший брат.*

– Он – не твой младший брат. И он тебе ничего не должен. А ты – ему. Но он оказался в ненужное время в неправильном месте. Это надо исправить.

– *Не таким способом, как ты предлагаешь.*

– Знаешь способ лучше?

– *Я поговорю с ним. Может, он и не видел ничего.*

– Примерно это он и скажет тебе: я ничего не видел. Я бы так и поступил на его месте. А потом ждал бы, когда добренький Шух меня отпустит. Шух ведь лучший парень на свете. Одна беда, он – убийца.

– *Заткнись!*

– Боишься, что сопляк услышит?

– *Я... я не убивал.*

– Несчастный случай, а-ха-ха-ха! Плавали, знаем. Сам себе этим мозги канифоль. Мне – не надо.

– *Я не сделаю того, что ты предлагаешь.*

– Мне свистеть?

– *Подожди. Должен быть другой выход.*

– Нет другого выхода. Либо ты отпускаешь сопляка, либо решаешь проблему.

– *Должен быть другой выход.*

– Прикинь, как расстроятся твои родаки, когда узнают, что произошло. Знаменитость всесоюзного масштаба – и такая запендя. А остальные тебя на куски порвут. И больше ни одного фильма. Ни одного, брателло Шух.

– *Я... не могу этого сделать.*

– Да брось ты. С сучкой ведь прокатило. Как по маслу. Э-э... Ты чего? Никак блевануть задумал? Не знал, что ты такой слабак.

– *Все в порядке. В порядке. А если... Если Мокша...*

– Предлагаешь Мокше вынести за тобой твое же говнище? Так не пойдет, брателло. Тут каждый за себя. И за тебя

немного, конечно. При условии, что косяки ты исправляешь сам.

– *Я не смогу. Потому что это уже не несчастный случай.*

– Самый что ни на есть. Не ссы, Шух. Пара неприятных минут – и все будет, как раньше. Хочешь, чтобы все было, как раньше?

– *Как раньше уже не будет, так? Ты сам говорил...*

– Будет по-другому. Но всяко лучше, чем сейчас.

– *Он маленький. Слабый. Я не могу.*

– Тебе решать, Шух.

– *Нет. Не могу.*

* * *

– *Тебе не сделали больно, малыш?*

– Нет.

– *Я же вижу. Вон и царапина на шее.*

– У тебя тоже царапина на шее.

– *Что? Вот черт!.. Че-еерт. Ну, ничего страшного. Мы же братья, да? Так что если у одного что-то прибавилось, то и у другого прибавляется тоже. Я прав, Генка?*

– Да. Только я не Генка. Я Сережа.

– *Прости-прости. Генка ты на съемках. Вот я и забыл. Тупо вжился в образ. Кино ведь такая штука. Все на свете забываешь. Я прав?*

– Да.

– Ничего нет лучше, чем кино.

– Да.

– И сам уже не знаешь, где настоящее, а где придуманное.

Стоишь – и глазам своим не веришь. У тебя так бывает, Генк... Сережа?

– Да.

– Вот и у меня. Постоянно. А еще я люблю репетировать всякие сцены с друзьями. Даже когда Анатолия Михальча нет рядом... Так, для себя, чтобы быть в форме. Михальч – хороший мужик и режиссер классный. Согласен?

– Да.

– Не больно ты разговорчивый.

– И на лбу тоже царапина. У тебя.

– Хм... Будем считать, что это – производственная травма. Знаешь, что такое производственная травма?

– Да.

– Надо же!

– У папы была такая. Произ... Производственная. Ему паром руку обожгло. Сильно.

– Но теперь-то все в порядке?

– Да.

– А царапина заживет. По сравнению с рукой все это – пустяки. Как думаешь?

– Да.

– Гримом замажут – всего делов. Будем с тобой и дальше сниматься.

– Сегодня за мной папа приезжает.

– А... Точно. С тобой уже все отсняли. А мы ни разу и не поговорили толком. Даром что братья. Но еще поговорим ведь? А? Что молчишь? Ну... Хочешь, я этому Мокшии уши оборву? Будет знать, как маленьких обижать.

– Нет.

– А хочешь, подарю тебе свой ремень? Зэканский ремень, мне его из Штатов притаранили. Ни у кого такого нет. Сейчас, погоди... М-мм. Забыл. Забыл его надеть с утра. Но перед отъездом обязательно получишь.

– Не забыл.

– Что?

– Ты его не забыл.

– Ну да черт с ним, с ремнем. Потом с ним разберемся, да?

– Нет.

– Я и говорю, черт с ним. Но если хочешь знать...

– Не хочу.

– Царапины... э-э... ненастоящие. Так надо для фильма. Мы тут кое-что придумывали по ходу дела. Одну сцену. В сценарии ее нет, но Михалычу точно понравится. Так что, если ты здесь что-то увидел... И тебе это показалось странным... Просто помни – это кино. Все понарошку – как царапины. А от настоящих фиг отличишь, правда?

– Да.

– Так-так. Лишнего слова из тебя не вытянуть. Молчун,

да? Вообще это хорошее дело – быть молчуном. Молчуны – самые верные друзья. Мне как раз нужен такой. Будешь мне другом? Ну?

– Нет.

– Обиделся? Из-за того громилы? Я же предлагал ему уши надрать.

– Из-за тебя.

– А что со мной не так?

– Я думал, ты хороший. Самый лучший.

– Я и есть хороший. Самый лучший. Твой брат, пусть и в кино. Твой друг. Ты в каком классе учишься?

– Буду во втором.

– А теперь представь. В классе узнают, что я – твой друг. Да тебя все на руках носить будут. Если, конечно, не помрут от черной зависти. Любой бы мечтал оказаться на твоём месте. Скажешь, нет?

– Я думал, ты хороший. Самый лучший.

– Так и есть, Генк... Сережа. Так и есть!

– Нет. Папа говорит – тот, кто врет, не может быть хорошим человеком. И дела с ним иметь нельзя.

– Угу. И когда же я успел тебе соврать?

– Ты соврал про ремень.

– Дался тебе этот хренов ремень! Не соврал я. Просто забыл. Забыл надеть его с утра.

– Соврал.

– Вот проклятье! А больше папа тебе ничего не говорил?

Например, что иногда имеет смысл засунуть в жопу свою принципиальность? Целее будешь.

– Нет. Не говорил.

– *Ладно, прости. Не по теме на тебя наехал. Что это у тебя в сумке? Можно посмотреть?.. Ого! Альбом.*

– Там птицы.

– *Красиво. А кто рисовал?*

– Я.

– *Да ты талантище! Здорово получилось. Прямо с натурры рисовал?*

– Не всех.

– *Ага. Вот эта – точно у нас не водится.*

– Красноголовый манакин. Он живет в Латинской Америке.

– *И откуда ты про него узнал?*

– Он есть на марках. Мы с папой собираем марки. Марка с манакином была из Эквадора.

– *Слушай, у меня тоже где-то завалялись марки. Зэканские, прямиком из Штатов. Машины, мотики и даже пара космических шаттлов найдется. Могу подарить.*

– Мы с папой не собираем машины. Только птиц. Папа говорит – никогда нельзя расплытаться. С людьми, которые расплываются, дела иметь нельзя.

– *Ну, это папа говорит. А сам как думаешь?*

– Как папа.

– *И космические шаттлы не нравятся? Не впирают? И*

мотоцикл «Харлей-Дэвидсон»?

– Нет.

– Я понял. Тупоголовый... в смысле – красноголовый ма-
накин рулит. Но рисуешь ты и впрямь здорово. Упс... Так
это альбом для меня!

– Нет.

– погоди, здесь же написано. Мне от Серезжи Висько. На
память о съемках фильма «Прощайте, каникулы». «Съем-
ки» пишутся через твердый знак, а не через мягкий. И с за-
пятыми у тебя атас. А вообще... Офигеть! погоди, дай уга-
даю. Хотел его подарить перед отъездом? Чего молчишь?

– Валя хорошая, да?

– Что?

– Валя хорошая. Она добрая.

– Какая Валя?

– Она мне марку подарила.

– Черт.

– Позови ее, пожалуйста.

– Я не могу ее позвать.

– Почему?

– Я не знаю... где она.

– Она была с тобой.

– Не была она со мной!

– Она была с тобой.

– Ну, хорошо. Она была со мной. Мы репетировали сцену.
Я говорил тебе, помнишь? А потом... она ушла. Вернулась

в лагерь, наверное.

– Нет.

– *Давай вместе туда отправимся, и ты сам убедишься, что твоя Валя уже там.*

– Хорошо.

– *А пока идем, поговорим о птицах. О красноглазоголовой фигуре... Из Латинской Америки. Из Эквадора.*

– Манакин. Его зовут манакин.

– *Черт, черт... Черт... Как же глупо. Черт...*

Часть первая

Шахрисабз

AU DESSOUS DU VOLKAN. 3:34

Без даты

Мама, Фабрис и красноголовка

...Их больше нет. И некому стоять в дверном проеме, за которым чернота.

Чем больше я думаю о них, тем больше думаю о дверном проеме. О черноте. В какой-то момент мысль о ней становится основной. А сама чернота – реальной, но не пугающей. Потому что ничего страшного в ней нет: ни на первый взгляд, ни на второй. Такими черными иногда бывают птичьи крылья. Масляная краска, выдавленная из тюбика (она так и называется – «марс черный»). Сажа – жирная и вязкая на ощупь.

Вязкая – вот оно что. Слово найдено.

Основная характеристика черноты за дверным проемом – вязкость. Среда, уж слишком недружелюбная для кого угодно. Ночные демоны и герои детских кошмаров – не исключение. Им совершенно негде развернуться, они связаны по рукам и ногам, стреножены. Так же слепы, как и те, за кем обычно охотятся. Никаких лабиринтов, никаких тоннелей, ведущих к центру Земли (или в ад, если вдруг проскочишь нужный поворот). Насекомых с жесткими крыльями или ползучих гадов тоже не наблюдается; и запахов – они противопоказаны черноте. Чернота не пугает, но и не успокаивает. Просто существует – отдельной галактикой, Магеллановыми Облаками.

Мне нравятся оба – Большое Магелланово и Малое. В них всегда что-то происходит. Как происходит в любом другом скоплении звезд, будь то Головастики, Колесо Телеги или Спящая Красавица¹. Не то чтобы я так уж близко был знаком с ними, но точно знаю о них больше, чем любой из живущих на Земле. За исключением особой касты небожителей, кто сталкивается со звездами в силу профессии. Астронавты и космонавты, радиоастрономы и астрофизики и те, кто обслуживает телескопы. И прочее оборудование.

Как мой отец.

Всю свою жизнь он проработал на Майданаке – высокогорной обсерватории неподалеку от Шахрисабза. Вернее, всю мою жизнь. Ведь первое, что я помню: старенький авто-

¹ Названия галактик (прим. авт.).

бус «ЛиАЗ», который везет нас с мамой в горы, к отцу. Мама – красивая, в зеленом платье с красными розами, на шее – легкий газовый платок. Мама улыбается, а иногда – застенчиво смеется, прикрывая ладонью рот. Все дело в пассажирах: они мужчины, ученые, очень вежливые, знающие толк в комплиментах. А их шутки вертятся в основном вокруг астрономии.

Я их не понимаю. Мне – лет семь. Или восемь, или около того.

Мама крепко прижимает меня к себе свободной рукой, в окно автобуса светит солнце. Совсем скоро я узнаю, что солнце – это звезда. Самая обычная, каких миллиарды во Вселенной. Тысячу-другую можно найти на фотографиях: они сложены в папках, которые хранятся в ящиках письменного стола. За этим столом я обычно делаю уроки, то и дело отвлекаясь на стук футбольного мяча за окном. Шахри-сабзские мальчишки любят погонять в футбол, как и любые другие мальчишки в любом другом городе. В любой другой стране.

Я не люблю футбол. Звезды нравятся мне намного больше. Я разглядываю их часами, перебирая фотографии, прикладывая их одну к другой. Черный глаз к Южной вертушке, Сигару к Серебряной монете, ESO 137–001 к M-82; Большое Магелланово Облако – к Малому. Получаются звездные поля, целые парсеки звездных полей, настоящие прерии. Я гуляю по ним, воображая себя Оцеолой – вождем семинолов

и астронавтом Нилом Армстронгом одновременно.

Никаких других снимков в моем распоряжении нет, весь семейный архив погиб. Еще когда начались первые стычки в Оше, где до Шахрисабза жили мои родители. Слава богу, что нам удалось вырваться до начала самой резни, счастливо избежать худшего. Избежать смерти. Из Оша мы уезжали впопыхах («в чем были – в том и уехали», – всегда говорила мама) и едва не погибли от рук банды преследователей, вооруженных палками и камнями. Где уж тут было сохранить документы? Их восстановили позже благодаря академику Рахимову, отцовскому покровителю. Но о том, чтобы вернуть нам материальные свидетельства нашей прошлой жизни, не может быть и речи. Даже академики с их обширными связями здесь бессильны.

Я не помню Ош.

Ни единого проблеска, ни единой картинки вроде новогодней елки в детском саду, тарелки манной каши на столе или... Что обычно помнят из раннего детства? Я ничего вспомнить не могу, как бы ни старался. Моя жизнь начинается с автобуса «ЛиАЗ», едущего в горы. С красных роз на мамином платье. Впрочем, по прошествии времени мне начинает казаться, что это все-таки были не розы.

Маки.

По прошествии времени я все чаще задумываюсь о том, что судьба обошлась с нашей семьей не очень-то справедливо. Насмерть выбила мелкокалиберкой всех родственников,

ближних и дальних, – как жестяные фигурки в тире; разметала по свету немногочисленных друзей. О бабушках и дедушках (умерших еще до моего рождения) мне известно лишь по рассказам родителей. Они, а до этого – прабабушки и прадедушки – всегда жили на Востоке. Поколение за поколением мы рождались и умирали здесь. И лишь иногда позволяли себе мигрировать, но исключительно в рамках региона. Узбекистан, Киргизия, Туркмения – и снова Узбекистан. Бег по кругу, по колее, уже протоптанной до тебя. Когда-то она была широкой, но теперь сузилась до звериной тропы. Я, мама и отец – только мы и есть друг у друга. Да еще сидящий где-то в Ташкенте луноликий академик Рахимов, наш добрый ангел и благодетель. Я видел его лишь однажды, в Майданаке: академик оказался там, когда мы в очередной раз приехали навестить отца.

– Твой? – зычным голосом спросил у него академик, тяжелым раздвоенным подбородком указывая на меня.

– Мой.

– Хороший малый.

– Других не держим.

После этого академик сосредоточился на мне и несколько секунд пристально вглядывался в мое лицо.

– Нравится обсерватория?

– Да.

– А кем хочешь быть?

Больше всего я хочу быть астронавтом Нилом Армстрон-

гом и немного вождем Оцеолой, но не знаю, стоит ли сообщать об этом академику. Подумав немного, я нахожу самый правильный ответ.

– Как папа.

– Стало быть, инженером?

– Да.

– Молодец.

На прощание академик треплет меня по голове и дарит большую тяжелую линзу. Такие же линзы стоят на всех телескопах Майданака. С поправкой на размер, разумеется.

Телескопа из одной линзы не сочинишь, но меньше всего я озабочен строительством телескопа. Линза нравится мне как произведение искусства, да и в прикладном смысле совершенно незаменима. На несколько дней она становится центром моего мальчишеского мироздания. Я ползаю по квартире по-пластунски, изучая трещины в деревянном полу; поджигаю спички, преломляя в линзе солнечный свет. Да и на фотографиях галактик можно разглядеть гораздо больше событий, чем до сих пор. Так я обнаруживаю сгустки черной материи неподалеку от блазара в созвездии Ящерицы. «*Блазар*» – именно это слово написано прямо на фотографии; отходящая от него стрелка упирается в несколько мутноватых, сливающихся в одну точку. Если это и есть блазар, то выглядит он неважно.

Вооруженный линзой, я отправляюсь на улицу: до сих пор я предпочитал отсиживаться дома, но, видимо, пришла пора

расширять кругозор.

Ровно через час я перестаю быть счастливым обладателем линзы: ее отнимает дворовый авторитет Мухамеджан по кличке «Оса». Наверное, стоило бы побороться за свое сокровище, но силы уж слишком неравны. За спиной Осы жужжит целый рой дружков-приятелей, готовых наброситься на меня, стоит только Мухамеджану бровью повести. А в дополнение ко всему я представляю, как расстроится мама, если узнает, что я дрался. Мама не любит надолго выпускать меня из виду и вообще – всячески оберегает и сдувает пылинки.

Я – классический маменькин сынок, да.

– Маменькин сынок, да? – издевательски вопрошает Оса. А затем, приблизившись ко мне почти вплотную, презрительно бросает. – Пс-ссс-ссс. Рус чбчка².

Я не знаю узбекского (что странно для потомка тех, кто всю жизнь прожил на Востоке), но считывать интонации, несмотря на возраст, уже умею. Оса явно хочет унижить меня, публично оскорбить, устроить показательную порку.

– Дай сюда эту хреновину, – командует он.

Оса возвышается надо мной морским утесом, за которым вьется стая подчиненных ему бакланов, альбатросов и суетливых чаек. И мне ничего не остается, как протянуть ему подарок академика Рахимова. Он не слишком впечатляет Осу, более того – тот выглядит раздосадованным. Как если бы ожидал получить сто тысяч миллионов рублей, а вместо это-

² Русская свинья (узб.).

го ему сунули в руку двухкопеечную монету.

– Кутоган кыры! Джальяб!..

Эти слова откуда-то известны мне, хотя в нашей семье их не стали бы употреблять даже под страхом смерти. Грязные ругательства, вот что это такое. Я слишком мал, чтобы самому оценивать их, они воспринимаются набором звуков, легким сотрясанием воздуха. Именно – легким, потому что Оса произносит свой «джальяб» почти нежно.

Едва ли не по-дружески.

То, что происходит потом, будет происходить со мной и впоследствии. Не слишком часто, но все же... Моя душа странным образом отделяется от тела, становясь сторонним наблюдателем. Она (*Второй Я*) взирает на происходящее с холодной отстраненностью путешественника во времени. Я знаю, что произойдет в следующий момент. Оса ударит меня прямиком в живот, в солнечное сплетение. А потом, когда я упаду, больно саданет ногой в пыльной сандалиии по скуле. «Больно» здесь – такое же ничего не значащее для меня слово, как и «джальяб». Потому что я и боли не почувствую. Никакой.

У *Второго Я* есть еще одно преимущество перед всеми остальными (во главе с «первым Мной») – он умеет растягивать время. Не до бесконечности, разумеется, но отпущенных секунд хватает на то, чтобы внимательно рассмотреть застывшего с нелепо приоткрытым ртом Осу, двух братьев – Орзумурода и Улугмурода, толстяка немца Вернера и ма-

ленького верткого Домулло с бородавкой на щеке: именно он похож на суетливую чайку.

Дворовая банда не вызывает у меня страха, напротив, я испытываю к ней что-то вроде жалости. Особенно – к Домулло. Бледная бородавка, занимающая лишь крохотный участок на его смуглой физиономии, вдруг начинает разрастаться, подниматься вверх, как тесто; спустя мгновение все лицо Домулло оказывается погребенным под бесформенной массой. Нет больше ни рта, ни носа, ни глаз. Даже непокорный хохолок волос на макушке – и тот скрылся.

Ты умрешь, Домулло.

Так думает *Второй Я*. А первый просто произносит это вслух:

– Ты умрешь.

Коммуникации между первым и вторым «я» еще до конца не отлажены, оттого и имя остается непроговоренным. Все выглядит так, что сказанное обращено к Осе.

– *Ты умрешь.*

Это не угроза. Да и невозможно представить, чтобы малолетка, шкет, маменькин сынок угрожал королю двора. Это не угроза и не дерзость, на которую решаются в приступе отчаяния. Просто констатация факта, медицинский приговор. Или вердикт высшего суда.

– Чего? – Оса распяливает рот в глупой усмешке. – Чего?

– Ты умрешь.

Только теперь он бьет меня. Ногой в солнечное сплетение.

Боли я не чувствую, мне просто не хватает воздуха, вот и все. На всякий случай я падаю наземь и подгибаю колени к животу: все происходит ровно так, как привиделось мне несколько секунд (или минут) назад. Остается пережить лишь пыльные сандалии на скуле: удар, еще один, передо мной мелькают грязные пальцы, усаженные черными жесткими волосками. Рот наполняется жидкостью, солоноватой на вкус. Очевидно, она вытекает из носа и просачивается в первую подвернувшуюся щель.

Кровь.

Даже не пытаюсь увернуться от ударов, я меланхолично думаю о своей футболке.

Мама наверняка расстроится, увидев, как я ее изгваздал.

Мама появляется во дворе спустя каких-нибудь три минуты. Она кричит так истошно, с таким отчаянием, как будто меня уже убили. Или я умер – вместо Домулло. Парни бросаются врассыпную, секунда – и возле меня никого нет.

Я все еще думаю о футболке, когда мамины руки отрывают меня от земли. Крепко обнимают – так крепко, как будто мама хочет прирасти ко мне навсегда.

– Больно? Тебе больно, мой родной? – шепчет мама.

– Все в порядке. Мне не больно. Нет. – В подтверждение своих слов я начинаю быстро-быстро трясти головой.

– Мое солнышко, мой малыш...

Я прячу голову у мамы под подбородком: лучшего навеса, чтобы укрыться от всех на свете ливней, селей и камнепадов,

и придумать нельзя. Кажется, у мамы – тысяча рук и тысяча губ. И все они навсегда отданы мне в собственность. Наша с мамой любовь – абсолютна, мы принадлежим только друг другу и еще – папе, хотя здесь и сейчас его с нами нет. Мне не хочется вылезать из-под навеса, но мама почти силой заставляет меня сделать это. Она внимательно осматривает и ощупывает меня.

– Здесь больно? – Ее пальцы пробегают по моей скуле.

– Нет.

– А здесь? – Теперь они касаются кончиков губ.

– Нет.

– Я видела, кто это сделал. – Мама вытирает кровь у меня под носом белоснежным накрахмаленным платком. – И я их... убью.

Мне щекотно, а еще – жесткие края платка царапают кожу.

– Не надо, мамочка. Пожалуйста. Они сами.

– Что – сами?

– Сами умрут.

В маминых глазах проносится что-то, отдаленно напоминающее панику. Обычно небесно-голубые, они темнеют и становятся почти черными. Так я впервые сталкиваюсь с чернотой, еще не понимая, какое место ей уготовано в моей жизни. Впрочем, в тот раз она быстро отступает, и вот – мамины глаза снова голубые; разве что – чуть более темные, чем обычно.

– Мы ведь не скажем папе? – осторожно спрашиваю я. – А то он тоже расстроится. Хуже тебя.

– Ну, не знаю. – Мамин голос полон нерешительности. – Он бы мог поговорить с этими малолетними бандитами. С их родителями. Это произвело бы должное впечатление. Я так думаю. А ты?

– Нет.

– Хорошо, милый. Пусть будет так, как ты хочешь.

В нашей семье все всегда устраивается именно так, как я хочу. Я никогда не злоупотребляю этим и потому не знаю границ, за которые готовы (или, наоборот, не готовы) шагнуть родители. Что, если бы я сказал маме «Убей их»?

Вдруг она и правда бы их убила – и Осу, и двух братьев, и толстяка немца, и суетливую бородавчатую чайку? Нет-нет, небесно-голубая мама на это не способна. А вот та, в глазах которой на секунду поселилась чернота...

Думать о черноте не хочется, и поэтому я переключаюсь на мысли о безвозвратно утраченной линзе. Прежде чем подарок академика Рахимова перекочевал к Осе, я успел исследовать небольшую часть двора: ту, где растут кусты татарской жимолости и два тутовых дерева. Сам тутовник интересует меня мало, но под его гладкой, отслаивающейся корой полно насекомых. Захваченные в плен увеличительным стеклом, они предстают передо мной едва ли не монстрами – отталкивающими и прекрасными одновременно. Разглядеть их в подробностях не всегда удается: слишком уж быст-

ро они передвигаются. Устав наблюдать за жуками, муравьями и тлей, я переношу наблюдательный пункт к кустам жимолости. И тут, под одним из выбившихся из земли корешков, вижу ее – маленькую, размером с воробья, птицу. Птица и похожа на воробья, с той лишь разницей, что голова ее покрыта тускло-красными перьями, которые напоминают шапочку. Есть и еще некоторые отличия: она намного темнее, чем воробей, и у нее – желтые лапки.

Птица мертва.

Этот факт удручает меня несказанно. Я не могу вспомнить, когда плакал последний раз. Наверное, никогда: просто не было повода, чтобы пустить слезу. Теперь повод появился, и все мои силы уходят на то, чтобы не зарыдать. Симпатия к птице возникла мгновенно, сердце мое неистово колотится, а в горле застрял комок. Я скорблю о красноголовке так, как скорбел бы о смерти близкого друга – Оцеолы или Нила Армстронга. Минут десять я сижу неподвижно, держа на раскрытой ладони свое мертвое сокровище. Наверное, птицу надо похоронить со всеми почестями, подобающими вождям племени и астронавтам. И в тот момент, когда я решаю – какими именно должны быть эти почести, меня и настигает осиная банда. Я чувствую ее приближение спиной и еще успеваю поцеловать легкие перья и спрятать тельце под листками.

Дождись меня, красноголовочка, я обязательно вернусь!..
И я возвращаюсь. Но не сразу после случившегося во дво-

ре, и даже не вечером – утром. Вечер мы проводим с мамой за игрой в домино (в ней выигрывает она) и в карты (здесь победителем оказываюсь я). Говорим по телефону с папой: «У нас все хорошо, папочка, ждем тебя на выходные, передавай привет всем-всем звездам». Затем, перед сном, читаем друг другу «Калле Блюмквиста – сыщика». Все выглядит как обычно, вот только мама не уходит к себе. Она остается в моей комнате: на всякий случай, вдруг мне приснится кошмар после всего пережитого?

Такого еще не было.

Такого еще не было, но может случиться, детские кошмары – вещь непредсказуемая, – как-то сказала она папе.

– Детские воспоминания – тоже, – ответил папа. И почему-то понизил голос.

Хотя на кухне, где происходил разговор, они находились вдвоем. Я стоял за полуприкрытой дверью, в коридоре, с колодой карт в руках: только что разученному фокусу с отгадыванием задуманной про себя карты просто необходимы зрители.

Нечаянно подслушанное быстро выветрилось из моей головы, но демонстрацию фокуса я провалил. Хотя мама и отец что было сил подыгрывали мне. И раз за разом загадывали одну и ту же карту – даму крестей.

Я помню эту карту до сих пор.

И мамины руки, обнимающие меня той ночью. И мамины губы – они легонько раздувают волосы у меня на затылке, а

потом и вовсе зарываются в них.

– Я очень люблю тебя, милый. Очень-очень.

– И я люблю тебя, мамочка.

– Обещай мне, что будешь осторожен. Ты ведь разумный мальчик, правда?

– Да.

– Те дрянные мальчишки во дворе... Лучше держаться от них подальше. Конечно, мы поговорим с их родителями...

– Ты обещала! Все будет так, как я захочу, – ты мне обещала.

– Хорошо-хорошо. Но тогда и ты...

– Я буду осторожным, мамочка.

– Даже не приближайся к этим хулиганам.

– И не подумаяю.

– Мы с папой ведь не всегда сможем быть рядом с тобой...

– Я хочу, чтобы вы всегда были рядом.

– Правда? – Мама целует меня в макушку, а потом в висок. И спустя секунду я чувствую, как он увлажняется. – Ты мое солнышко!

Мамины слезы заставляют меня вспомнить о своих собственных – непролитых. И о птице, которая осталась лежать под листками жимолости. Я готов отправиться к ней прямо сейчас, но сделать это невозможно: слишком крепко обнимает меня мама.

Опутывает собой.

Это похоже на паутину и якорную цепь одновременно;

лучшая иллюстрация только что провозглашенного – «Быть рядом. Всегда». Интересно, смогла бы мама удержать в руках «второго меня»? Того самого путешественника во времени, который заранее все знал? Прежде чем заснуть, я еще некоторое время думаю о своем полете над двором и о том, как ловко у меня получилось – раздвоиться. То, что происходило со мной наверху, несомненно, намного интереснее того, что случилось внизу. Ведь там, наверху, тоже был я?

Или кто-то другой?

Если кто-то другой – почему он появился только сейчас? И где был до сих пор? В любом случае я мечтаю повторить полет. Снова стать путешественником во времени. Увидеть в подробностях еще что-нибудь важное. Или просто заслуживающее внимания. Но для этого... *Первый Я и Второй Я* должны подружиться.

– Выходи! – шепчу я себе самому. – Давай, выходи!

В комнате ровным счетом ничего не меняется. Лишь мамины пальцы касаются моей щеки:

– Что, солнышко?

Мама не спит.

Мама никогда не спит. Плетет паутину, удлиняет якорную цепь – звено за звеном: *никто не различит нас, солнышко. Никто и никогда.*

Именно эти слова шепчет мама, когда думает, будто я крепко сплю.

Ей и в голову не приходит, что я тоже могу не спать.

Время от времени.

В такие минуты я слышу ее шепот, но не вижу лица. И мне почему-то вдруг начинает казаться, что глаза у нее не голубые, – небеса покинули их. И теперь они до краев наполнены чернотой. Наверное, это тоже красиво. Может быть. Маки ничуть не хуже роз. И наоборот. И лишь зеленый фон величина постоянная. Как и мамина любовь ко мне.

Паутина. Якорная цепь.

...Утром я сам вызываюсь сходить за хлебом: более невинного способа вырваться за стены квартиры просто нет. Мама отпускает меня с неохотой – она считает двор источником повышенной опасности, где совершенно нечего делать ее сыну. Но и запретить мне спускаться туда, где бездумно носятся чайки и бакланы, она не в состоянии. Просто потому, что мне никогда ничего не запрещали. Справедливости ради я не злоупотреблял великодушием родителей, не злоупотребляю и сейчас. Все, что мне нужно, – немного времени, чтобы похоронить красноголовую птицу.

– Возьмешь патыр, – напутствует мама, засовывая деньги в карман моих шортов. – И, если будет катлама³, – тоже возьми.

Оказавшись во дворе, возле островка с татарской жимолостью, я тотчас забываю и о патыре, и о катламе. Вот те самые, немного пожухлые листки, под которыми я вчера спрятал птичье тельце. Но красноголовки под ними нет! Меня

³ Сорта узбекских лепешек (прим. авт.).

маюсь в землю и... на какой-то момент сам становлюсь землей. Всем тем, что скрыто в земле: мертвыми листьями, сухими мертвыми корнями, мертвыми насекомыми.

Мне нравится здесь.

Мне хотелось бы здесь остаться. Больше, чем там, наверху, где сияют звезды из каталога журнала наблюдений Майданакской высокогорной обсерватории. Где парят путешественники во времени. И мамыны руки... даже они не сравнятся с объятиями земли.

Так-так, – ударяет сердце в последний раз.

Окруженный мертвыми листьями, насекомыми и корешками, я чувствую себя счастливым. Конечно, если бы прямо сейчас нашлась красноголовая птичка, я был бы счастлив абсолютно.

Но и так тоже сойдет.

* * *

...Домулло умирает через три месяца, от меланомы – болезни, о которой мало кто слышал в Шахрисабзе. До последнего момента ничем себя не проявлявшая, меланома прогрессирует так быстро, что Домулло едва успевают отвезти в Ташкент, на консультацию. Сразу после консультации его кладут в стационар, откуда маленькой суетливой чайке больше не суждено будет выпорхнуть.

Смерть Домулло – первая человеческая смерть на моей

памяти – оставляет меня совершенно равнодушным. Самый маленький из дворовой компании мальчишка все равно был старше меня: ему уже исполнилось одиннадцать – против моих девяти. Мы ни разу не пересекались, мы даже не здоровались толком; тем более я все знал заранее – что уж тут переживать. Совсем другое дело – мама: известие о меланоме вызывает в ней всплеск невиданной ранее медицинской активности. Целых полтора месяца после похорон Домулло мы ходим по врачам: на предмет ранней диагностики самых разных заболеваний. Иногда сдаем одни и те же анализы дважды. Все потому, что мама должна убедиться: ее сыну ничего не угрожает. Мы даже совершаем паломничество в Ташкент (по следам Домулло) и в Самарканд (там живет один из лучших в Узбекистане кардиологов).

Мама подозревает наличие у меня астмы и ревмокардита, но, как и следовало ожидать, я оказываюсь абсолютно, восхитительно здоров. Наверное, именно об этом врачи беседуют с мамой, когда я жду ее в коридоре. И в конце разговора кто-нибудь из них обязательно добавит, что я – красавчик из красавчиков. Все так и есть, я – *гузал, жуда чиройли, жуда екимтой бола, табиат муъжизаси*⁴. Не только врачи – все кому не лень отмечают это.

Я похож на ангела – и это мое единственное отличие от всех остальных. В свои девять я не совсем понимаю, что значит походить на ангела. И пока не испытываю никаких

⁴ Прекрасный, красавец, прелестное дитя, чудо природы (*узб.*).

неудобств, разве что – легкое смущение, когда кто-то рассматривает меня слишком пристально. Толком и не разобратъ, в кого я уродился, такой *жуда чиройли*: мама с отцом, хоть и симпатичные, приятные люди, но – самые обыкновенные, им вслед никто и не обернется. Мама утверждает, что я – вылитый дед, ее отец; жаль, что ни одной фотографии деда не сохранилось.

Моя ангельская красота спасает нашу семью в смутное время тотальной, вспыхнувшей на ровном месте, ненависти к инородцам и иноверцам. Немногочисленные русские спешно покидают Шахрисабз, как чуть раньше это сделали немногочисленные немцы и евреи. Дворовая команда несет еще одну потерю: к умершему Домулло прибавляется толстяк немец Вернер. Семья Вернера уезжает в далекий, как галактика ESO 137–001, Франкфурт-на-Майне. Стоя у окна, я вижу, как они садятся в грузовое такси: родители, сестра и младший брат. Все ждут только толстяка, который прощается с Осой. Оса проникновенно обнимает Вернера за шею, пару минут трясет его пухлую руку, после чего неожиданно поддает отъезжающему под дых. Ровно так же, как двинул когда-то меня. А потом, даже не глядя на согнувшегося пополам немца, резко поворачивается и выбегает со двора.

Бегают Оса очень быстро, никому его не догнать.

Но никто и не собирается. Вернера спешно заталкивают в такси – так всем не терпится покинуть наконец адов Шахрисабз и добраться до благословенного Франкфурта. Возмож-

но, Оса тоже мечтает о Франкфурте, но везет в этот раз не ему. И никогда не повезет.

Через пару дней мы с Осой встречаемся во дворе: у тутовника и татарской жимолости, где я на несколько минут успел стать землей. Оса же остается самим собой – королем двора. Он стоит, облокотившись на шелковичный ствол и сунув руки в карманы.

– Эй! – негромко зовет меня Оса, когда я прохожу мимо, груженный патыром и катламой. – Поди сюда, шкет.

Памятуя о предыдущей встрече, я заранее жалею лепешки, которые обязательно вывалятся в случае драки. Отряхивай потом их от пыли!.. Но никакого особенного страха перед Осой нет. Наоборот, мне даже немного жаль его; немного смешно оттого, что он такой *ахмок*⁵. Зачем-то отправил Орзумурода и Улугмурода к моему подъезду, чтобы те отрезали возможные пути отступления. Теперь оба брата, с совершенно одинаковой, виляющей походкой, движутся в мою сторону.

– Глухой, что ли? – снова подает голос Оса. – Сказал же, подойди сюда.

– Зачем?

– Разговор есть.

Разговора нет, во всяком случае, в первые пять минут: Оса слабо фокусируется на мне, то и дело смотрит по сторонам, а потом вытаскивает перочинный нож и принимается вычи-

⁵ Дурак (*узб.*).

щать грязь из-под ногтей. Еще и *искри́т бола*⁶, надо же!

– Боишься меня? – смачно сплюнув на землю, спрашивает грязнуля.

– Нет.

– Домулло-то помер.

– Ага.

– Ты что тогда сказал?

– Что он умрет, – спокойно отвечаю я.

– Вот и врешь ты! Брешешь, как собака. У-у, джаляб!..

Это похоже на вспышку ярости, но Оса вовсе не в ярости. Он боится. Как должен был бояться я, но на поверку выходит, что королю двора гораздо страшнее, чем мне.

– Нет. Не вру.

– Отчего тогда сказал, – тут Оса понижает голос до шепота, – что помру я?

– Ты сам так услышал. Я разве виноват?

– Значит, все в порядке будет?

– Наверное. – Я пожимаю плечами. – Я пойду?

– А ты чего борзый такой, майда?⁷ – Оса наконец оставляет в покое ногти и принимается чесать подбородок кончиком лезвия.

– Я пойду?

– Куда?

– Домой.

⁶ Грязнуля (*узб.*).

⁷ Мелюзга (*узб.*).

– А хочешь с нами?

Предложение Осы не слишком-то нравится мне: зачем я им понадобился? И снова мои мысли возвращаются к лепешкам: нехорошо, если они окажутся в пыли. Это – единственное, что беспокоит меня. А Оса не беспокоит вовсе.

– Не ссы, майда. – Король двора считывает мои душевные колебания по-своему. – И забудь про прошлый раз. Глупо получилось.

– Нормально получилось.

– Никто тебя теперь не тронет. А будешь меня держаться – не тронут вообще. Пойдем, а? Чего покажу!.. Не пожалеешь.

То, что происходит впоследствии между мной и Осой с его прихвостнями, никакая не дружба. Впрочем, к дружбе никто изначально и не стремился. Мною движет любопытство и желание еще раз испытать радость полета. Снова стать путешественником во времени. Так или иначе связанный с Осой, полет однажды случился – так почему бы ему не повториться вновь? Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но ничего не происходит. Иногда мы часами слоняемся по городу, на первый взгляд – совершенно бесцельно. И в то же время меня не покидает ощущение, что маршрут хорошо продуман и спланирован заранее. Правда, Оса внес в него коррективы – специально для меня: каждые два часа я должен звонить на работу маме и сообщать, что у меня все хорошо. *Чем я занимаюсь?* Читаю, смотрю телевизор – в общем, с пользой провожу каникулы. *И конечно, ждущу тебя, мамочка.*

Мама могла бы звонить и сама, но оба мы пришли к выводу, что лучше это делать мне: так вырабатывается ответственность, которая, несомненно, пригодится в жизни.

В нужный момент рядом обязательно оказывается телефон-автомат, из которого я совершаю звонок, чтобы в очередной раз соврать о чтении и просмотре телевизионных программ. Иногда я разбавляю вранье про книги враньем про папины фотогалактики, разложенные на полу в большой комнате. Это называется – *изучать каталоги*; занятие, которое я с недавних пор забросил.

Галактики не очень-то вдохновляют маму.

– Не улетай далеко, солнышко, – говорит она прежде, чем повесить трубку.

Я и не улетаю, я – хороший сын, который дал маме слово, что никогда ее не оставит. Но «никогда» можно немного отодвинуть (пока мама на работе) или вообще перенести в будущее. А в настоящем Оса молча выдает мне мелочь на телефон-автомат. И – ни одной кривой улыбки в сторону маменькиного сынка. Почему он так возится со мной – загадка. Но что-то подсказывает мне: разгадать ее можно будет в конце маршрута, до которого мы никак не доберемся.

Просто потому, что никуда не спешим.

Иногда, вместо того чтобы шляться по улицам, мы отправляемся в подвал (у Осы есть ключи от подвала) и болтаем, сидя на старых, полуистлевших коврах. Вернее, в основном болтает Оса, нам же с братьями-неразлучниками оста-

ется только слушать его.

Оса мечтает перебраться из Шахрисабза в латиноамериканскую страну Колумбию и заделаться наркобароном. Подойдут и Италия с Америкой (там тоже припеваючи живут наркобароны), но все равно нужны деньги. Много денег.

– Много – это сколько? – спрашивает практичный Улугмурод.

– Почему я знаю. Тысяч пять. Или десять.

– Рублей? – уточняет Орзумурод.

– Дурак, да? – Оса смеется. – Кому нужны рубли в Америке? Долларов.

– Доллары в Самарканде можно достать. Или в Ташкенте, у иностранцев. – Это снова Улугмурод, он проявляет завидную осведомленность.

– Так много не достанешь. – Теперь уже осведомленность проявляет сам Оса.

– И что делать?

– Сидеть на жопе ровно!

Произнеся это, мой новый покровитель смеется. А затем переключается на меня:

– А ты что скажешь?

– Не хочу я в Америку. Мне и здесь хорошо.

– Скоро будет плохо. Всем людям будет плохо, все с ума сойдут. Так биби⁸ говорит. А еще она говорит, что ты – ангел.

Я не знаю, как реагировать на эти слова. В отличие от Улу-

⁸ Бабушка (узб.).

гмурода и Орзумурода – они бьют друг друга по плечам и толкают в бока. И хихикают. Наверное, мне тоже следовало бы улыбнуться, но я просто смотрю на Осу. А Оса смотрит на меня. Черты его лица то и дело теряются за клубами легкого дыма: все находящиеся в подвале курят анашу.

Кроме меня.

– Ну, чего? Дунешь, майда?

– Пусть сначала у мамочки разрешения попросит.

Так подначивают меня Орзумурод и Улугмурод – каждый по-своему и хихикая все громче: анаша веселит их. А Осу делает чрезмерно сентиментальным, отсюда и разговоры о биби и ангелах. Отсюда разговоры о деньгах и о счастливой наркобаронской жизни в Колумбии, *тебе бы там понравилась, майда*. Странно, что он все время обращается ко мне, представляя наш побег из Шахрисабза как дело решенное. При этом в рассказах Осы о счастливой заграничной жизни фигурируем только мы, братья остаются здесь, в Шахрисабзе, на пыльных подвальных коврах. Орзумурода и Улугмурода это не обижает; или они слышат совсем другие истории, заключенные в спичечном коробке с анашой.

– Что знаешь ты и не знаю я? – иногда спрашивает у меня Оса.

Рассказывать ему о галактиках – бесполезно. О полете и путешествиях во времени – не хочется, это только моя тайна. И потому я вежливо пожимаю плечами.

– Может, точно знаешь, когда я помру? Как Домулло?

Я пожимаю плечами еще вежливее. И вообще – веду себя с достоинством, мама бы гордилась таким сыном.

– А если я знаю что-то такое, чего не знаешь ты? – Оса все никак не может успокоиться. – Про тебя. Этого еще не случилось, но уже случилось. Думаешь, так не бывает?

– Бывает.

Оса подползает ко мне и крепко ухватывает пальцами за подбородок.

– Умный, да? Сам-то не боишься умереть?

Еще никто не разговаривал со мной о смерти, не сталкивал лбами меня и ее. Все мамины истории о родителях и остальных родственниках выглядят так, как будто они просто ушли. Оставили нас, осторожно прикрыв дверь за собой. Отстали от поезда, на котором мы едем куда-то. Но (какие же они все-таки чудесные люди!) дали телеграмму со станции: «С нами все хорошо! Доберемся следующим составом и будем на месте раньше вас. Не волнуйтесь!»

Вот никто и не волнуется.

Я тоже не выказываю никаких признаков волнения, хотя мне не нравятся пальцы Осы: они желтоватые, покрытые заусенцами и жесткие, как наждак. Между указательным и средним вытатуирована буква «С» – неаккуратная, расплывчатая.

– Не боишься, а? – снова переспрашивает Оса.

– Нет.

Я не вру. Нельзя же всерьез опасаться телеграммы. Си-

нюшной буквы между пальцами, которая не в состоянии сама позаботиться о себе. Но даже если бы было что-то более страшное...

Это совсем не страшно.

Откуда я знаю это? Просто знаю, и все. Всегда знал. Как дурные слова, которые сейчас произнесет Оса. Он и производит:

– Джаляб! Сс-сука!

– Навалять ему? – интересуется Улугмурод.

– Я тебе наваляю. Сам у меня будешь кровью харкать. – Прочувствив это, Оса вновь сосредоточивается на мне. – Мы друзья, майда. Ведь так?

Маленькая красноглазая птица – вот чьим другом мне хотелось быть. Я до сих пор вспоминаю о ней, а заодно – о полусгнивших мягких листьях, бледных корешках и таких же бледных насекомых. Если смерть – это поиски птицы с обязательным счастливым воссоединением в конце, я готов отправиться в путь немедленно. Осталось только придумать ей имя, чтобы окликнуть, когда мы встретимся.

* * *

...Маймун⁹.

Непонятно, откуда возникает история о нем. Подобно ды-

⁹ Обезьяна (узб.).

му, окутывающему кудлатую голову Осы, он вплетается во все наши разговоры, всплывает то тут, то там. Маймун всемогущ и вездесущ, для него нет ничего невозможного – так это выглядит в изложении Осы. Иногда мне кажется, что он – один из недостижимых колумбийских наркобаронов, о которых грезят мои новые приятели. Но чаще Маймун предстает в образе черной дыры, расположенной в галактике NGC4889 в созвездии Волосы Вероники. Туда уже затянуло Осу, хотя и не окончательно: время от времени он вырывается из оков чудовищной гравитации с каким-нибудь трофеем.

Например, часами.

Новенькие «котлы» сверкают на запястье Осы ничуть не хуже солнца или, скорее, луны: серебристо-белые, с тремя хронометрами на циферблате и множеством насечек на ободке.

– Настоящие швейцарские, – торжественно сообщает Оса. – Фирма «Тыссот», сс-сука!

Улугмурод и Орзумурод потрясены, они пытаются приблизиться к часам, но тут же получают отповедь владельца:

– А ну, не лапать!

Удивительно, но ко мне Оса гораздо более снисходителен:

– Хочешь посмотреть, майда?

– Не знаю.

– Дурак, что ли? Они одни такие. Во всем Шахрисабзе.

Оса склонен к художественным преувеличениям, но тут он вряд ли врет: пыльный, изнывающий от зноя Шахриса-

бз – совсем крошечный городишко. Ничего примечательного в нем нет, за исключением центра, где все связано с великим воином и правителем Тамерланом. И базара Чорсу, куда мы с мамой ходим по воскресеньям. А теперь еще появились и часы неизвестной мне швейцарской фирмы «Тыссот». Не удивлюсь, если они взойдут над руинами дворца Ак-Сарай сегодня же ночью, заменяя луну: такие они ослепительные.

Впрочем, красота часов не трогает меня. Я равнодушен к ним так же, как равнодушен к анаше, наркобаронам и даже байкам о том, как Маймун переплыл зимой пролив Ла-Манш (это где-то в Италии, а может, в Штатах) и получил за это миллион долларов и жилетку из крокодиловой кожи. В запасе у Осы есть еще с десятков историй, но эти – самые запоминающиеся. Оса рассказывает их только мне (при Улугмуроде и Орзумуроде он про Маймуна особенно не распространяется, держит рот на замке). Но стоит нам с Осой остаться одним, как он тут же заводит песню про Маймуна. Я не знаю, как к этому относиться: то ли Оса посвящает меня в тайну, известную немногим, то ли смеется над малолетним дурачком.

Но не такой уж я дурачок. И не больно-то верю Осе. С миллионом долларов еще можно смириться, но крокодиловая жилетка выглядит совсем уж неправдоподобно.

– Все ты врешь, Оса.

– Я?! Да если хочешь знать... – Помолчав секунду, он решается и подзывает меня, согнув указательный палец.

Губы Осы похожи на наждак ничуть не меньше, чем его пальцы. И теперь сухая наждачная бумага немилосердно трет мне ухо.

– Если хочешь знать, он здесь.

– Кто?

– Маймун. Он сам тебе все расскажет, если мне не веришь.

– Про миллион долларов?

– Про что угодно. Ты такого человека не встречал, зуб даю.

Выходит, Маймун – это не черная дыра, а все-таки человек. Я немного разочарован.

– Он весь мир объездил, где только не был! Вот ты где хотел бы побывать?

– Не знаю. Хочу поехать к папе на выходные.

– Сегодня только вторник. – Оса смотрит на меня с сожалением. – А завтра можно пойти к Маймуну. Все равно делать нечего.

– А там что мы будем делать? У Маймуна?

– Ну-у... Видак посмотреть. У него и видак есть со Шварценеггером. И вообще, он его друг.

– Чей?

– Дурак, что ли? Шварц Маймуну друг. Видак посмотреть хочется?

– Не знаю.

– Да и пошел ты! Ай, сс-сука, ты бесишь! Амгя бор! Кы-

ждыл! Магюлиз!..

Оса снова грязно ругается – видно, что терпение у него на исходе. Еще бы, все самые соблазнительные перспективы общения с Маймуном уже обрисованы, а я не вдохновился ничем из предложенного списка. Есть от чего прийти в ярость, но Оса при этом еще обижен и расстроен. Как будто заключил пари на миллион долларов и крокодиловую жилетку, что приведет меня, а я (*кыждыл, магюлиз*) порчу ему всю малину. Мне становится жаль несчастного Осу.

– Ладно. Пойдем смотреть. А телефон там есть? Ты знаешь, мне надо маме звонить.

– Даже два! – с жаром уверяет меня повеселевший Оса.

...День, пришедший после вторника, – самый обычный. И маршрут, по которому мы с Осой поначалу следуем, самый обычный: в обход Чорсу, мимо сельхозтехникума, а потом – вдоль маленького арыка. Очень жарко, и я уже жалею, что поддался на уговоры Осы: лучше бы мы остались в подвале, Улугмурод и Орзумурод наверняка там.

Потому что с нами их нет.

Братья не сопровождают нас, как делали всегда. Не то чтобы это вызывало во мне беспокойство, но я не перестаю оглядываться: вдруг появятся их короткие тени? Наши с Осой тени тоже короткие и с каждой минутой съеживаются все больше – время близится к полудню.

– Долго еще? – спрашиваю я у Осы.

– Нет. – Он горделиво взбрасывает руку и несколько се-

кунд пялится на швейцарский циферблат. – Минут через десять будем на месте.

– А почему братья не пошли? Не хотят увидеть друга Шварца?

– Не пошли и не пошли. Не звали их – вот и не пошли. Много чести им.

– А нам?

– А нам – в самый раз.

Через десять минут мы оказываемся в месте, куда до сих пор не ступала моя нога (и, как я подозреваю, мамина) – в махалле. Одноэтажные домики лепятся друг к другу, как будто держат круговую оборону. Их облупленные фасады опутаны тонкими трубами и проводами. Кое-где валяется строительный мусор, кое-где стены оплетает виноград, а еще я успеваю разглядеть вывеску на одном из домов –

«САРТАРОШХОНА»¹⁰.

Сквозь стекло проглядывает кресло, похожее на трон, пара натертых до блеска зеркал и целая батарея самых разнообразных бутылочек с прикрепленными к узким горловинам резиновыми трубками. Трубки заканчиваются такими же резиновыми грушами. На столешнице из темного камня лежит стопка полотенец, а сверху, на полотенцах, раскрытая бритва с костяной ручкой.

Я ни разу не бывал в парикмахерских (мама стрижет меня и папу сама) – и это большое упущение. Мне хочется немед-

¹⁰ Парикмахерская (узб.).

ленно войти под сумрачные своды этой волшебной Сартарошхоны, устроиться в кресле, в котором не побрезговали бы посидеть ни Оцеола, ни Нил Армстронг, – и закрыть глаза.

Вот если бы Маймун оказался владельцем столь чудесного места!

– Ну, чего прилип? – окликает меня Оса.

– Ничего.

– Идем.

– Разве мы не пришли еще?

– Почти.

И правда: не успеваю я додумать целиком захватившую меня мысль о Сартарошхоне, словно о пещере Али-Бабы, как Оса толкает дверь соседнего с ней дома. И мы оказываемся в маленьком аккуратном внутреннем дворике. Видно, что Оса здесь не в первый раз: он уверенно пересекает дворик, направляясь к самому дальнему строению. Мне остается только следовать за ним.

– Подожди здесь, – шепчет мне Оса, стоит нам только оказаться внутри. И исчезает за занавеской.

В полутемном, завешанном коврами коридорчике чуть прохладнее, чем снаружи. Пахнет какой-то едой, но этот запах – не единственный. Есть и другие – знакомые и не очень. Тонкую, въедливую, как будто прибитую пылью анашу я распознаю сразу. И сквозь эту травяную пыль иглами прорастает что-то пряное и острое, как если бы мне пришлось сунуть нос в жестянку со специями. А еще здесь ощутимо отдает ко-

жей, но не грубой; не той, из которой сделаны сумки и башмаки, продающиеся на базаре Чорсу. Не грубой – мягкой.

Такой же мягкой, какими были перышки красноголовой птицы.

Откуда-то издали доносятся приглушенные голоса. Вернее, сразу несколько пар голосов, они накладываются друг на друга. Так что разобрать, о чем голоса пытаются втолковать друг другу, – невозможно. Я и не стараюсь, лишь не оставляю попыток удержать ноздрями запах, который может – вдруг несказанно повезет! – привести меня к птице. Удивительно, но я до сих пор думаю о ней. А еще о Сартарошхоне: что, если попросить Осу зайти туда на обратном пути? Он не сможет мне отказать, ведь я же ему не отказал. Пришел сюда.

И стою, как дурак, в какой-то ковровой норе.

Вдруг Оса позабыл обо мне? Или не выходит нарочно, зная, что я никуда не денусь, *вот сс-сука! Джалаб!*

– Сс-сука! Джалаб! – шепчу я совсем по-осиному.

И в то же мгновение он вырастает передо мной: с улыбкой на лоснящемся лице. Улыбка обнажает сколотый передний зуб и золотую коронку где-то в глубине рта. Раньше я не видел ее. Может, потому, что Оса никогда еще так широко мне не улыбался.

– Заскучал, майда? Идем.

...Фабрис.

Его зовут Фабрис, а вовсе не Маймун. Но что-то обезьянье в нем все-таки есть. Длинные руки с длинными пальца-

ми – такими подвижными, что вполне могли бы гнуться в разные стороны. Ноги у Фабриса, наоборот, короткие, а волосы забраны в хвост. Они такие же черные, как у Осы, и также кажутся смазанными бараньим жиром. Но вряд ли это жир: от Фабриса очень хорошо пахнет – той самой кожей. Не грубой – мягкой.

Он представляется не сразу. Просто стоит посреди комнаты и внимательно разглядывает меня, склонив голову набок. А потом растягивает губы в улыбке. Совсем как Оса – но это другая улыбка. Она полна нетерпеливого дружелюбия, как будто Фабрису хочется с места в карьер поделиться со мной чем-то очень важным. Есть в ней и еще что-то, что трудно объяснить. И... я уже видел похожий взгляд. Примерно так Оса смотрит на свои новенькие швейцарские часы.

– О-ла-ла, – произносит *все еще Маймун*. – Адорабль. Он-шонто.

Он точно не русский, но и не узбек. Иностранец.

Подумаешь.

Иностранцы работают в папиной обсерватории. Обычно они вежливо здороваются со мной, дарят значки, жвачку, а иногда – маленькое соленое печенье. А один немец подарил мне шариковую ручку, но на немца *все еще Маймун* не похож.

– Я – Фабрис, – говорит он.

Я киваю головой.

– Я – друг Мухамеджана. – Несмотря на то, что Маймун

(или Фабрис) совсем неплохо говорит по-русски, «друг Мухамеджана» дается ему с трудом.

– Оса.

– Оса? Такое маленькое злое... ансект...¹¹

В горле Фабриса как будто перекатываются стеклянные шарики, интересно, подарит он мне ручку или нет?

– Оса – не злой.

Слышит ли это Оса, который находится тут же, в комнате? Может, и нет, он развалился на диване в дальнем углу и не отрывает взгляда от экрана телевизора. Я не вижу, что происходит на экране, но наверняка что-то страшно интересное. И опасное. Во всяком случае, то и дело доносятся выстрелы, крики и ржание лошадей.

– Тре бьен. Отлично. Я – друг Осы.

– А я думал, вы – друг Шварца.

– Кого? – Фабрис несказанно удивлен.

– Арнольда Шварценеггера, – терпеливо поясняю я. – Оса сказал, что вы его друг.

Гипотетический приятель Шварца с готовностью смеется, а потом подмигивает мне:

– Ну... Оса немного преувеличил. А тебе нравится Шварценеггер? У меня есть фильмы. Можем посмотреть, если хочешь.

Стеклянные шарики в горле Фабриса все перекатываются и перекатываются. Из-за них словам трудно выбраться нару-

¹¹ Insecte – насекомое (фр.).

жу, а может, он просто тщательно подбирает их. *Иностранец, что с него возьмешь* — так думаю я. А еще я думаю об этом его «если хочешь». Обычно так говорит мама: *мы сделаем то-то и то-то, если ты хочешь*. Но Фабрис — не мама, я вижу его первый раз в жизни.

Странно.

Я пожимаю плечами:

— Не знаю.

— Говорил ведь, что он дурак.

Это Оса, погруженный в просмотр фильма не так глубоко, как мне казалось.

— Сам ты дурак. Кжждыл. Магюлиз!

До сих пор я не произносил этих слов — и не потому, что они находятся под запретом (хотя они находятся под запретом). Ничего не значащие для мальчика девяти лет, но обращенные к кому-то, они могут вывести человека из себя. Уничтожить его. Или отправить уничтожать других. *Словом можно убить*, — иногда говорит мне мама. Я не совсем уверен, что это — именно те слова, но, просвистев над головой Осы, они заставляют его вскочить на ноги и двинуться ко мне со сжатыми кулаками.

— Что ты сказал?

— Что слышал. — Присутствие Фабриса добавляет мне уверенности. Несмотря на то что он отрекомендовался другом Осы, я чувствую, что он — на моей стороне. И это чувство наполняет меня едва ли не восторгом.

Странно.

– Нет, – спокойно говорит Фабрис. – Здесь никто не ссорится. Здесь все любят друг друга. Согласны?

– У-у, сс-сука! – Так и не донесся кулак до моего лица, Оса возвращается к телевизору.

Вот и все. Вытащить осиное жало намного проще, чем мне казалось.

Но я тут же забываю об этом. И забываю об Осе.

Фабрис – археолог. Знаю ли я, кто такие археологи? В общих чертах. Они – нечто совсем противоположное тем, кто смотрит на звезды. Археологи обычно смотрят себе под ноги. Терпеливо снимают землю, пласт за пластом. Одежка за одежкой.

Одежка за одежкой – именно так говорит Фабрис. Это называется культурный слой. *Наверное, меня увлекают звезды?* – делает предположение он.

– Ну-у... Не все.

– Есть те, которые ты любишь больше остальных?

Большое Магелланово Облако. Ответ скрыт в названии: оно большое – вот и любви ему нужно больше, чем кому-то другому. Только это не звезда, а целая галактика.

Ободряемый улыбкой Фабриса (и когда только успел к ней привязаться?), я рассказываю о галактиках и о черных дырах. Мой новый друг тоже кое-что слышал о них. Но не знает подробностей. Вот если бы я рассказал ему!..

– Там все пропадает. Эта комната может пропасть. И Ар-

нольд Шварценеггер.

– Грустная перспектива. – Фабрис качает головой.

– Чего уж хорошего, да.

Но если бы пропал Оса – я бы точно не расстроился.

– Лучше остаться на Земле, правда?

– Чтобы снимать ее одежда за одежкой?

– Да!

Фабрис легонько дергает меня за ворот рубашки и смеется. Звезды – это, конечно, замечательно, но уж слишком далеко. Их не рассмотришь в подробностях. Не приблизишь, как бы сильно этого ни хотел. Археология – совсем другое дело: здесь до всего можно дотянуться, все потрогать руками. *Примерно так:* его рука касается моей руки. Если пальцы Осы жесткие, как наждак, то пальцы Фабриса... Не мягкие, нет. Они похожи на воду в арыке: вода вспенивается и обтекает тебя, образуя крохотные водовороты. Точно такие же водовороты живут под кожей Фабриса. Они немного пугают меня: неизвестно, что вынесет на поверхность с глубины – вдруг склизкую арбузную корку? Они пугают, да.

Странно.

Все можно потрогать руками, заявляет Фабрис. Но лучше сдувать и смахивать вековую пыль с камня специальной кисточкой. И все нужно делать осторожно, чтобы не повредить целостность культурного слоя. *Лэ прудэнс. Э-э-э...* Осторожность. Осторожность – главное в профессии археолога. Ну а потом, когда артефакты собраны... Знаю ли я, что такое

артефакт? Нет? Материальный объект, когда-то созданный человеком и найденный в результате раскопок, *не слишком ли это сложно для меня?*

Нет.

Совсем не сложно. Фабрис здесь из-за Тамерлана?

Именно, подтверждает он. Когда Фабрис был мальчиком – таким, как я, – то увлекся историей. Сначала европейской, а потом азиатской. История – это всегда движение, перемещение, завоевание; дело, которое мужчины делают сообща, будь то войны или открытие новых земель. Есть множество дел, которые мужчины делают сообща и о которых женщинам знать не обязательно. *Ты согласен?*

– Да, – отвечаю я. – Я могу позвонить маме?

Фабрису не очень нравится эта идея, он грустнеет. Стекланные шарики больше не перекатываются в горле. А я уже привык к ним. Как и к его улыбке. Фабрис – очень интересный человек. Может быть, самый интересный из всех, кого я знаю. За исключением людей, которые работают в обсерватории. Но они никогда толком не разговаривали со мной. А Фабрис – разговаривает. Задает вопросы не просто так, а чтобы услышать ответ. И мой ответ так важен, как будто от этого зависит его жизнь.

Странно.

– Я могу позвонить? Оса сказал, что здесь есть телефон. Даже два.

– Один есть точно. Ты хороший мальчик.

В голосе Фабриса не слышится прежнего энтузиазма. Что-то произошло за последние несколько минут, что-то неуловимо изменилось. Но что именно – я понять не в состоянии. Может быть, потом как-нибудь и удастся. А пока я снова оказываюсь в ковровой норе, которая ведет в нору поменьше, – именно там находится телефон. Он стоит на тумбе у полуоткрытого окна, за окном течет арык – тихое ворчание воды ни с чем спутать невозможно. А если к тому же внимательно взглядеться в щель верхнего ящика тумбы (что я и делаю), то можно увидеть... Не специальные кисточки Фабриса, нет, – сложенные полотенца, а еще ножницы, бритвы (не такие красивые, как та, из Сартарошхоны) и пару расчесок. Разговор с мамой длится не дольше обычного, и слышит она все то же, что слышит всегда: я дома, пообедал, читаю книжку. На этот раз – «Зверобой» Фенимора Купера.

Фабрис предпочитает Жюля Верна.

Об этом он сообщает мне, когда разговор с мамой закончен.

– Ты соврал.

– Нет. – Я пожимаю плечами. – Я читаю «Зверобой».

Осталось страниц тридцать или около того.

– Ты соврал. Сказал, что ты сейчас дома.

– Вы тоже соврали.

– Я? – Стекланные шарики вернулись снова, а один (самый большой) бьется и бьется в шею Фабриса, скачет то вверх, то вниз.

– Сказали, что Оса – ваш друг. А это неправда.

– Почему?

Потому что настоящий друг обязательно был бы в курсе, чем занимается Фабрис. Я – совершенно посторонний мальчишка – и то узнал об этом спустя пять минут после знакомства. Всего пять, а ведь у Осы было гораздо больше времени. А дурацкие истории про крокодиловую жилетку и погружение в воды Ла-Манша? И другие, где Фабрис представлял то наркобароном, то человеком, которому вживили акульки жабры (была и такая телега, которую Оса как-то раз подогнал по сильной обкурке)? С одной стороны – «он дофига путешествовал, сс-сука», с другой – немного презрительное прозвище «Маймун». Оно, конечно, не самое обидное, но все же... И Оса напирал на Шварценеггера, а оказалось, что Фабрису намного интереснее их шахрисабзский Тамерлан.

Я не знаю, каким образом объясниться с Фабрисом так, чтобы это не выглядело наездом на Осу. Я молчу.

– Ну хорошо. – Фабрис смотрит на меня без тени улыбки. – Тогда, наверное, он твой друг?

– Нет.

– И без него полно друзей?

Нил Армстронг, Оцеола, пара галактик – они не забывают слать мне привет с фотографий из письменного стола.

И мама.

Жаль, что мама не может быть мне другом. Только мамой, которой приходится время от времени врать, чтобы она не

волновалась. Не рассказывать того, о чем я думаю, – вдруг это испугает ее? Когда любишь – вечно переживаешь из-за пустяков, с мамой все происходит именно так. А папа слишком занят в своей обсерватории, он – главный технический специалист, и без него все, абсолютно все остановится. Ни один механизм не заработает – от самого юркого до самого неповоротливого. И звезды останутся без присмотра. Папа слишком занят, вот маме и приходится отдуваться за двоих. А в школе меня не очень-то любят. Не трогают особо, но и не любят. Так получилось, что я – единственный *рус киши*¹² в классе, может быть, не любят из-за этого?

– Я бы хотел быть твоим другом, – без всякого перехода говорит Фабрис.

– Так не бывает. Взрослые и дети не друзья.

– А кто?

– Просто взрослые. И просто дети.

– Разве дети не хотят побыстрее вырасти? Вот ты – не хочешь?

– Хочу.

– А взрослым иногда хотелось бы снова стать детьми. Поверь, я знаю, о чем говорю. Мы не так далеко друг от друга, как кажется.

Мы и вправду совсем близко: сидим на новеньких курпачах¹³, сложив ноги по-турецки; Фабрис запускает пальцы

¹² Русский (*узб.*).

¹³ Курпача – тонкий ватный матрас (*узб.*).

мне в волосы и осторожно треплет их. До сих пор так делала только мама.

– Друзья? – спрашивает он.

– Да.

Правда, не совсем понятно, что мы должны делать как друзья. *Защищать друг друга*. Но на меня никто не нападет. Оса мог бы – а как раз Осы в комнате нет. Надо же, он куда-то подевался, а я даже не заметил этого. Впрочем, я тут же забываю о его существовании.

Мне нравится Фабрис. нравятся его истории и то, что он – археолог. И то, что он иностранец. И то, что он – взрослый, хотя я до сих пор не понял, сколько ему лет на самом деле. Сколько бы ни было – он все равно стоит на верхотуре Ак-Сарая. Дворца, в котором жил Тамерлан.

Городская водонапорная башня тоже подойдет.

Он там, наверху, а я стою внизу и смотрю на него, запрокинув голову. Как смотрю на звезды и на тех, кто наблюдает за звездами.

А вот и нет. Все не так.

Потому что теперь мы оба запрокидываем головы – я и Фабрис. Мы снимаемся на «Полароид» – диковинный фотоаппарат со вспышкой, который делает моментальные снимки. Снимки неторопливо, с легким постукиванием выползают из щели, похожей на щель в почтовом ящике. Изображение проступает не сразу, но так интереснее. Никогда не угадаешь заранее, какую физиономию скорчил во время съем-

ки. Мы с Фабрисом корчим физиономии, да! Размахиваем руками, приставляем друг другу рожки, скашиваем глаза к переносице и зверски улыбаемся. Не все снимки оказываются удачными, некоторые просто смазаны. А некоторые представлены лишь фрагментами – меня или Фабриса: вполне может отсутствовать плечо или рука, и даже часть лица, что совсем уж неприятно. То есть мне это даже нравится, но Фабрис считает, что это – непорядок. Так не должно быть, вдруг эти фотографии со временем тоже станут артефактами? И их, затерявшиеся где-то в очередном культурном пласте, найдут будущие археологи? И что же они увидят?

Что?

В том-то все и дело, что ничего. Часть руки, часть лица, одинокий потерянный глаз; губы, рассеченные надвое. В археологии важно что?

Что?

Общая картина.

Ради нее мы с Фабрисом застываем, он обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Моя голова оказывается у него под подбородком, а затылок почти вжимается ему в шею. Щелк, хрр-р – и фотография готова, но он не спешит разжать руки. До сих пор только мама и папа касались меня, да еще сандалия Осы – когда Оса нанес удар в солнечное сплетение. И его пальцы, когда он хватал меня и спрашивал – не боюсь ли я смерти. Можно еще вспомнить академика Рахимова и немца, подарившего мне ручку.

Все.

На секунду взъерошить мальчишке волосы и отправиться по своим делам: так поступают ученые. С оттягом стукнуть *рус киши*, дождаться, пока он упадет, – и стукнуть снова: так поступают короли двора. У мамы тысяча рук, которыми она обнимает своего сына. У папы – только две, да и те немного рассеянные: он отвыкает от нас, месяцами живя на Майда-наке.

Я не сержусь на папу.

И не сержусь на Фабриса, который прилип ко мне и никак не хочет отлипнуть. Я просто не знаю, что должен делать. Сидя под навесом его подбородка. Незнакомое для меня место, непонятное. Не похожее на то, *мамино*, где всегда можно укрыться от дождей, селей и камнепадов. С мамой всегда чувствуешь себя защищенным. Но разве можно чувствовать себя защищенным, когда камни грохочут за твоей спиной? Их точное количество неизвестно, но звук получается громким:

Бах-ба-ах, бах-ба-ах, и так – снова и снова, не останавливаясь ни на мгновение.

Я не сразу понимаю, что это сердце Фабриса, колотящееся где-то у меня возле уха: все выглядит так, как будто он пробежал несколько километров вдоль арыка или сходу забрался на верхотуру Ак-Сарая.

Городская водонапорная башня тоже подойдет.

Что, если сердце у него больное?

Я вспоминаю о нашей с мамой поездке в Самарканд, к лучшему в Узбекистане кардиологу. Тому самому, который назвал меня чудом природы. Он точно может помочь Фабрису.

– Адорабль. Оншонто.

Я слышал эти слова, когда Фабрис еще был Маймуном. Человеком-обезьяной с ловкими бескостными пальцами. Раньше пальцы были сами по себе, а теперь они... Я не понимаю.

Странно.

– Я не понимаю.

– Ты восхитительный мальчик. Очень красивый.

Слова Фабриса не смущают меня; что-то подобное я слышал и раньше. Непривычна только интонация: как будто он испытывает не восхищение, а боль. Которую нужно скрывать, чтобы не прослыть слабаком. Ржавый гвоздь распорол ногу? Не подавай виду, держись из последних сил.

Я бы держался.

– Хотите сказать – ангел?

– «Хочешь», – поправляет меня Фабрис. – Друзья всегда говорят друг другу «ты». Ну-ка!

– Хочешь, – послушно повторяю я.

– Значит, ангел?

– Так считает бабушка Осы.

– Бабушка Осы – мудрая женщина.

– Вы... Ты с ней знаком?

– А ты?

Почтительно здороваюсь, увидев ее во дворе, а знакома с ней мама. Иногда они разговаривают – недолго, может быть, минуту или две. И тогда от бабушки Осы исходит сияние: все зубы у нее золотые.

– Все зубы у нее золотые. У многих здешних так.

– Ага. – Фабрис задумывается. – У здешних. А ты – нездешний?

– Мы приехали из Оша. А до Оша жили еще где-то. Но я этого не помню. Был совсем маленький.

– Ты нездешний, потому что ты ангел.

– Ну...

Все, о чем бы ни говорил Фабрис, – абсолютно логично. Хотя это и не главный аргумент для мальчика девяти лет. Но он позволяет моему новому другу-археологу двигаться дальше. Вернее, двигаются его руки.

– У ангелов ведь есть крылья.

– Ну...

– Значит, и у тебя должны быть, раз ты ангел.

Вот тут Фабриса ждет разочарование: никаких крыльев у меня нет. Лучше сразу сказать ему об этом, но я молчу. Молчу даже тогда, когда бескостные пальцы оказываются у меня под рубашкой. Он сейчас друг? Или археолог, изучающий культурные пласты?

– Все в порядке? – спрашивает Фабрис.

Я не знаю, что он имеет в виду, и на всякий случай отве-

чаю:

– Да.

– Мы друзья?

– Да.

– Я рад. А ты?

– Да. У меня нет крыльев.

– Они еще вырастут, вот увидишь.

Кажется, он решил утешить меня. Это похоже на то, как утешает мама: обнимает, крепко прижимает к себе, целует в макушку. Маме обязательно понравился бы Фабрис: он ученый, археолог. Он добрый, внимательный и очень мягкий человек. И он мой друг. Единственный.

Единственный, кто целует.

Мы снова фотографируемся, снова смеемся, едим что-то вкусное, пьем чай и шипучку в маленьких стеклянных бутылках – кока-колу. Она не хуже, чем пепси, которую иногда приносит мама: почти такая же, только бутылки разные. Осы по-прежнему нет, он как сквозь землю провалился, хотя по виду снова идет какой-то фильм, *не хочу ли я посмотреть его?*

Нет.

Фабрис в сто раз интереснее любого фильма, он – мой друг. Я могу рассказать о нем маме? *Не очень хорошая идея.* Так он и говорит:

– Это не очень хорошая идея.

– Почему?

Я снова вижу шарик, который бьется о шею Фабриса: там, внутри. Хочет вырваться – и не может. Шарик в плену, но он не единственный, кто попался: я тоже в плену. Хотя могу выйти в любой момент: дверь не заперта. И вторая дверь, в противоположном углу комнаты (за ней вполне мог исчезнуть Оса) – тоже.

Есть множество дел, которые мужчины делают сообща и о которых женщинам знать не обязательно, – напоминает мне Фабрис. Я киваю головой, я помню эти его слова. Помню и другие – в них не было ничего странного, ничего неправильного. Все они красиво разложены на траве, или на курпаче, или... на чем там обычно раскладывают ценные артефакты? Надо бы спросить об этом у моего друга Фабриса. Но вместо этого я спрашиваю:

– А куда подевался Оса?

– Думаю, у него образовались дела, – заявляет Фабрис. – Вот он и... вышел.

Вот он и вышел, вот так номер!

– Он тебе нужен? Вы ведь не друзья, так? Ты сам сказал.

– Да.

– Но если он тебе зачем-то понадобится... Мы сможем его разыскать.

Я вовсе не горю желанием увидеть Осу, хотя мог бы, в любой момент. И искать долго не придется. Оса – в комнате за второй дверью. Дверь закрыта неплотно, и, оказавшись рядом с ней, я вижу Короля двора – он лежит на коврах, рас-

кинув руки. Глаза у Осы закрыты – он спит? Или мечтает о том, как бы обнять всех наркобаронов на свете? Плевать мне на Осу, он мне не нужен, мы не друзья. Зато с Фабрисом мы друзья, следовательно...

– Если тебе жарко, можешь снять рубашку.

Я и забыл, что на улице стоит жара. Она не спадает даже к вечеру, но до вечера еще далеко. И здесь совсем не жарко – не настолько, чтобы снять рубашку. Как получилось, что я уже без нее? И Фабрис тоже, ему не привыкать: археологи частенько работают под палящим солнцем – где-нибудь в далекой южной стране. Например, в Греции или Египте (это Африка) или – как сейчас – в Узбекистане. То есть это поначалу Узбекистан был далекой страной. А теперь он – близкий, ведь у Фабриса появился здесь новый и самый лучший друг.

Я.

Адорабль. Оншонто.

Фабрис обязательно поможет мне выучить французский и возьмет на раскопки в Грецию; и в Африку, на сафари, – знаю ли я, что такое «сафари»? Ни в коем случае не убийство несчастных животных, а путешествие к ним с фотоаппаратом. Полароид для такого случая – незаменимая вещь. Она важна и сейчас, эта машинка-торопыга: Фабрис то и дело снимает меня и нас обоих, и говорит, говорит. Мне ничего не остается, как следовать за ним, – босиком по траве... или по курпаче, где разложены ценные артефакты. Он гово-

рит, а я киваю головой и соглашаюсь. Ведь в словах Фабриса по-прежнему нет ничего странного, ничего неправильного. Любая дружба – прекрасна, а мужская (в которой так мало слов и так много тайн) – прекрасна вдвойне, *разве я не согласен с этим?*

Конечно, согласен, ведь я же согласился со всем остальным. Со словами Фабриса; с шариком, готовым выскочить из его горла. С бескостными пальцами, – они гладят мою спину в надежде, что крылья вот-вот прорастут. Может быть, крылья и впрямь проросли, – путешественник во времени, *второй Я*, наконец взлетает. Не так стремительно, как в первый раз, и совсем не так плавно, а как будто рывками. И открывшееся мне... ничего не напоминает. Я не вижу комнаты, укутанной коврами. Не вижу телевизора, остатков обеда, стеклянных бутылочек из-под кока-колы. Фабриса тоже нет, а главное – нет меня. А ведь я точно должен быть здесь! Что же это за туман, за которым ничего не разглядишь?.. Да, это больше всего похоже на туман. Или даже на туманность – в галактике NGC4889 в созвездии Волосы Вероники. Той, где расположена черная дыра.

Я и не заметил, как в ней оказался.

Один-одинешенек.

Я все еще лечу, то падаю вниз, то лечу, то падаю – и не могу ни упасть, ни взлететь окончательно. К тому же в черной дыре ужасно тесно, она наваливается на меня, сжимает со всех сторон, вгоняет в тело ржавые гвозди. И кажется,

что-то нашептывает на ухо. Что-то вроде *держись, не будь слабаком.*

Я и держусь из последних сил.

И в тот момент, когда они почти оставляют меня, я вижу птичку-красноголовку.

Красноголовка еще красивее, чем была в тот момент, когда я оставил ее. Еще мертвее. Желтые лапки перепачканы землей и опутаны тонкими корешками, зато перья ничуть не потускнели. Ярко-алые, черные, темно-синие с лиловым отливом. *Я ужасно рада*, – всем своим видом говорит птичка. – *А ты?*

И я рад.

Ужасно.

Я немедленно представляю, как, наконец, сделаю то, что давно должен был сделать: похороню ее в нашем дворе, на островке с татарской жимолостью. Разрою землю – мягкую и податливую, хотя и покрытую сверху морщинистой, растрескавшейся коркой. Корка – всего лишь защита от солнца и любопытных глаз. И ртов, которые только и делают, что сплевывают тягучую, вязкую слюну – прямиком в трещины. Оса любит так плеваться, и один из братьев – Улугмурод.

Мне не хочется думать о них, а хочется поскорее выбраться из черной дыры, ошестинившейся гвоздями.

Никому еще не удавалось сделать этого – ни одной звезде, ни одной галактике. Все потому, что у них не было птички-красноголовки, а у меня – есть! Стоит только прикоснуть-

ся к ней, погладить перышки, как черная дыра ослабляет хватку. Не окончательно, но ржавые гвозди перестают впи-ваться в тело. Неужели меня... нас отпустят?

При условии, что я не буду слабаком и сохранию тайну. Я должен пообещать, и я обещаю. Киваю головой стуктам черной материи, хотя и не совсем понятно, о какой тайне идет речь. Наверное, все дело в том, что для меня и моей пернатой подружки сделано исключение. Обычно черная дыра так не поступает, не отпускает пленников. Но сейчас готова отступить от правил, *ты не будешь слабаком?*

Нет.

Все здесь устроено не так, как в мире, к которому я при-вык. Хотя и нет ничего, что было бы мне незнакомо. Самой первой я вижу вывеску «САРТАРОШХОНА» – она проплы-вает мимо меня. Или, скорее, это мы с птичкой проплыва-ем мимо нее; скользим вдоль искривленной и бесконечной улицы где-то внутри махалли. А потом махаллю волшебным образом сменяет арык. По обе стороны от него – Ак-Сарай и городская водонапорная башня, а может, – Нил Армстронг и Оцеола. Определить точнее, кто именно высится впереди, – невозможно. Слишком уж здесь темно или, наоборот, – так светло, что свет слепит глаза. Я жмурюсь, а птичке все рав-но, глаза у нее закрыты.

У Осы – тоже.

Оса – вот он! Стремительно несется по течению, то скры-ваясь в арыке полностью, то выпрыгивая на поверхность, как

дельфин из передачи «В мире животных». Оса несется – и все равно стоит на месте. Кажется, я что-то кричу ему, но он не слышит меня. Хотя и улыбается при этом – странной улыбкой. В чем ее странность – не поймешь, не присмотревшись хорошенько. А я уж точно не любитель пялиться на Осу... Вот что. Улыбка существует отдельно от Осы, от его лица. Как будто решила найти себе место получше: вскарабкалась на подбородок и слетела вниз. И остановилась.

Оса улыбается мне во все горло. А я – во все горло – продолжаю кричать ему. И не слышу сам себя, – все здесь устроено не так.

Все.

Потому что Осы больше нет, его место в арыке занял кто-то еще, но кто именно – не разглядеть. А все потому, что этот «кто-то» завален множеством сбившихся в стаю вещей. Не дельфинов – маленьких рыбешек, хотя попадаются и большие. Я не могу понять, что это за вещи – фотоаппарат? конверт? хлебные лепешки, за которыми я почти каждый день хожу в магазин? Есть и другие – я точно видел их когда-то, но не могу вспомнить, как они называются.

Артефакты.

Артефакты связаны с Египтом (это в Африке) и Грецией, а еще – с охотой на диких зверей: сафари. Безжалостные люди убивают зверей, стреляют в них из ружей, прямо в сердце, а потом хладнокровно ждут, когда звери умрут в мучениях. Чтобы подойти к ним, сфотографироваться (*вот я какой ге-*

рой и молодец!) и полоснуть охотничьим ножом по горлу. И из звериного, еще теплого горла выкатится несколько стеклянных шариков.

Но этого в программе «В мире животных» точно не покажут.

Моя птичка-красноголовка – это просто птичка, не лев, не жираф и не черная пантера; ей ничего не угрожает.

Стоит мне подумать об этом, успокоить себя, как она исчезает, а сам я оказываюсь в арыке. И только теперь понимаю, что меня окружает не вода – земля.

Мягкая и податливая.

Мне хотелось бы в ней остаться.

Но у черной дыры относительно меня совсем другие планы. Я уже успел забыть, какой она может быть коварной и безжалостной. Ржавые гвозди (их тысяча или даже целый миллион!) с новой силой терзают меня, – и это больно. Очень больно. И красноголовка пропала – так что защитить меня больше никому.

Ты не будешь слабаком?

Нет.

Черная дыра только и ждет этих моих слов. И, пропустив через себя, выплевывает прямиком в арык – не тот, что был в моей голове еще секунду назад, – самый настоящий. Вода в арыке – мутная и пенистая, Осу в нем днем с огнем не сыщешь, зато полно всякого мусора: щепочки, ветки, тряпки, ненавистные мне арбузные корки. Рубашка становится

грязной, вся она покрыта какими-то разводами – маме это не понравится, к тому же – моментально вскроется обман. Невозможно так запачкаться, читая книгу. Поэтому я принимаю самое верное решение: избавляюсь от рубашки прямо в арыке и остаюсь в одних шортах. Черная дыра – как будто только этого и ждала – снова начинает терзать меня. Чтобы снова выплюнуть спустя какое-то время – в комнату, где на полу, на ковре, разложены фотографии галактик и туманностей. Комната хорошо знакома мне: вот стол, за которым я обычно готовлю уроки, если нет каникул. Вот телевизор «Электрон», он стоит в углу. Вот диван, книжный шкаф и три книжные полки лесенкой. Большая голубая тарелка на стене – мы с мамой привезли ее из Самарканда. Вот картина с черно-белыми людьми и черно-белыми крышами – «Зимний вечер». В общем, это не совсем картина – эстамп, так это называется. «Зимний вечер» очень нравится маме, которая, по ее собственному выражению, «генетически скучает по снегу». Ковер на полу мама называет «бухарским», узкую и высокую ширму в углу – «тридцать три несчастья», вечно она падает. Ширма и с места не сдвинулась, но все здесь устроено не так...

Все устроено именно так, как и должно быть.

Я дома!

Не успеваю я удивиться штукам-дрюкам, на которые способны черные дыры, как в прихожей раздаются два сухих щелчка. Кто-то открывает входную дверь.

Мама.

– Солнышко, где ты? – Голос мамы слегка дрожит. – Ты дома?

– Да.

Где же еще быть мальчику – самому послушному, самому любимому?

– Все в порядке?

– Да.

– Ты забыл позвонить. Я волновалась.

О чем она говорит? Я ведь звонил ей, потому что звоню всегда. Но спорить с мамой не хочется: только начни объяснять, как запутаешься сразу же. И это уж точно не понравится ей, мама во всем любит ясность. И пока не доберется до нее – не успокоится.

– Я... читал книгу.

– Было не оторваться? – Мама понимает меня с полуслова.

– Ага. Это же «Зверобой».

– Про индейцев, да? На работе мне обещали принести всего-всего Майн Рида. Ты рад?

– Очень.

– Когда я была девочкой... Представляешь, твоя мама была маленькой девочкой! Смешно, да? Так вот, я обожала книжки про индейцев. Я уже и забыла об этом, да... А ты напомнил. Мы могли бы почитать вместе сегодня вечером, перед сном. Твоего «Зверобоя».

Я киваю головой: с мамой лучше соглашаться. В полном

согласии мы ужинаем (мне совсем не хочется есть, но я заставляю себя проглотить кусок курицы и поддеть на вилку пару макаронин) и смотрим телевизор. Вернее, это я смотрю телевизор, хотя и не могу толком понять, что происходит на экране. А мама смотрит на меня.

– Что-то случилось, солнышко?

– Нет.

– Ты не такой, как обычно. Сам на себя не похож.

Мамины слова застают врасплох послушного мальчика. Что со мной не так? – после черной дыры ни в чем нельзя быть уверенным. Вдруг у меня появился золотой зуб, как у Осы?

– Ты не грустишь, солнышко?

– Нет.

– О чем ты думаешь?

О золотом зубе. Мама обязательно сказала бы мне, если бы заметила. Это не зуб, точно.

– А когда принесут Майн Рида?

– Через пару дней, ангел мой.

Никуда она не делась, черная дыра. Прячется у меня за спиной, упирается в позвоночник ржавыми гвоздями. На мгновение (только на мгновение!) меня пронзает боль, *ты не будешь слабаком?*

– Нет.

Мама, которая никогда, никогда не узнает о черной дыре, истолковывает мои слова по-своему:

– Раньше никак не получится. Знаешь, какая очередь, чтобы хотя бы один том заполучить!.. Ну, не грусти!..

* * *

...Участковый появляется в нашем доме за день до Майн Рида. Я уже видел его: во дворе и несколько раз на улице. И всегда старался обходить стороной: слишком он толстый, слишком большой. Рубашка едва сходится у него на животе, она мокрая и темная от пота. Не везде, конечно, – только на спине и под мышками. Не знаю, что больше пугает маму, когда она открывает дверь, чтобы впустить гостя, – живот или подмышки. Только она вдруг бледнеет и хватается за косяк.

– Старший лейтенант Молдаханов, – представляется участковый, на секунду приложив к форменной фуражке пухлую ладонь. – Хочу поговорить с вами.

– О чем? – Я не узнаю маминого голоса, такой он тихий. И беспомощный, как перевернутый на спинку сверчок.

– Вы уже знаете, что произошло?

– Нет.

Несмотря на то, что толстяк все еще мнетя в прихожей, его цепкие глаза сразу же находят меня – *рус киши*, растянувшегося с книжкой в комнате, на ковре.

– Разговор... конфиденциальный. – Лейтенант цокает языком, так он впечатлен словом, неожиданно сорвавшимся с его толстых мокрых губ, – «конфиденциальный».

– Ну что ж. Тогда пройдемте на кухню.

О чем они говорят за закрытыми дверями кухни, мне все равно. Я просто хочу, чтобы этот человек побыстрее ушел и забрал с собой запахи, просочившиеся в дом вместе с ним. Это – неприятные запахи: пот, чеснок, баранина и немного зиры¹⁴, растертой между пальцами.

Но у толстяка совсем другие планы. Более того, он перетянул на свою сторону и маму: оба они выходят из кухни с видом заговорщиков.

– Это Санжар-ака, солнышко. Он задаст тебе несколько вопросов. Просто ответь на них, и все.

– Хорошо, мамочка.

– Ничего не бойся.

– Я не боюсь.

Санжар-ака несколько секунд разглядывает меня, а затем достает из планшета толстый блокнот с замусоленными, расползающимися страницами. И скашивает глаза на маму.

– Э-э?

В этом протяжном «э-э» заключена какая-то просьба, но маму с толку не собьешь, будь ты хоть старшим лейтенантом, хоть кем. Мама непреклонна.

– Мы договорились, Санжар-ака. Вы поговорите с сыном в моем присутствии. Или так, или – никак.

Джаляб.

Я бы поставил золотой зуб Осы на то, что на языке участ-

¹⁴ Пряная приправа для плова (прим. авт.).

кового вертится именно это слово. Но он никогда не произнесет его, так и проносит за щекой, как леденец. Чтобы потом выплюнуть где-нибудь во дворе, у тутовника и татарской жимолости.

Куда подевалась моя птичка? Я скучаю по ней и хотел бы увидеть ее снова.

– Э-э... Хорошо.

Кивнув маме и моментально забыв о ее существовании, Санжар-ака сосредоточивается на мне: острый карандаш занесен над блокнотом, на кончике носа повисла капля пота. Фуражка сдвинута на затылок, – наверное, для того, чтобы каждый желающий мог полюбоваться жидкими волосами участкового, прилипшими к черепу.

– Знаю, ты очень хороший мальчик. Не врунишка какой-нибудь, так?

Я равнодушно пожимаю плечами, предлагая Санжар-аке выбрать подходящий ответ самому.

– И ты дружишь с Мухамеджаном Хамраевым, так?

– Не знаю я никакого Мухамеджана Хамраева. Кто это?

– Ну, как же... Твой друг Мухамеджан, – подсказывает участковый. – Он живет здесь, в вашем дворе. Подъезд четыре, квартира семьдесят пять.

– А-а... Мухамеджан, который Оса?

– Точно! – Санжар-ака радуется так, как будто выиграл в лотерею автомобиль «Москвич». – Оса. А говоришь, не знаешь.

– Мы не друзья.

Теперь радость толстяка становится и вовсе неподдельной.

– Как же не друзья? Ты, Мухамеджан Хамраев и братья Аббасовы, Улугмурод и Орзумурод. Вас часто видят вместе.

– Вместе? – Мама поражена. – Ты общаешься с этими хулиг... с этими мальчишками, солнышко?

– Я не общаюсь, мамочка. – Надо успокоить маму во что бы то ни стало. – Они взрослые. Они курят. Что нам делать вместе?

– Вот именно!

Мама готова поверить всему, что бы я ни наплел (тем более что плету я чистую правду), но толстяк Санжар – совсем другое дело.

– Ну хорошо. Тогда просто скажи мне, когда ты видел Мухамеджана Хамраева в последний раз?

– Осу? – зачем-то уточняю я.

– Да.

– Не знаю. Может, во дворе видел. Или из окна. Вон из того. – Я указываю рукой на окно, у которого стоит письменный стол.

– Не можешь вспомнить точно?

– Нет.

Капля, до сих пор висевшая на кончике носа Санжар-аки, наконец отрывается и шлепается на блокнот – ба-аац!

– А знаешь, что говорят братья Аббасовы, Улугмурод и

Орзумурод?

– Кому говорят?

– Не кому, а вообще говорят. Дают показания...

Я не совсем понимаю, что значит «давать показания», но маме явно не нравится эта формулировка. Она вскидывает брови и поднимает руки одновременно:

– Товарищ лейтенант! Я же просила вас...

– Виноват, – тут же осекается Санжар-ака. – Скажу по-другому: братья Аббасовы утверждают, что два дня назад, восьмого августа, примерно в одиннадцать тридцать утра, ты и Мухамеджан Хамраев вместе вышли со двора. Так и было?

Я молчу. Перевожу взгляд с мамы на окно и на книжку, которая лежит на полу. Она называется «Грабители морей», и мне очень хочется к ней вернуться. Прямо сейчас, немедленно.

– Хорошенько подумай, прежде чем ответить, сынок. Так и было?

– Нет.

– Нет?

Щеки участкового раздуваются; все – из-за леденцов-слов, забивших рот. К ленивым проклятьям, которыми обычно осыпает меня Оса (у-у-у, ссука, *кыждыл*, *рус чучка!*) он мог бы добавить еще десяток. Но при маме никогда не решится сделать это.

– Нет? – еще раз повторяет толстяк.

– Было, но не так.

– А как?

– Он... обещал вернуть линзу. Сказал, что для этого нужно встретиться с одним его знакомым. Вот я и пошел с ним.

– Какую еще линзу?

– От телескопа. Мне подарил ее академик. А Оса... взял ее.

– Отнял, – уточняет мама. – Это старая история. Наверное, мне нужно было еще тогда обратиться к вам, Сан-жар-ака.

– Академик?

– Да, академик. – Взгляд, которым мама одаривает участкового, строгий и торжествующий одновременно. – Наби Гафурович Рахимов. Лауреат Государственной премии. Орденосец. Депутат. Большой друг и покровитель нашей семьи.

Толстяк участковый потрясен. Он крикает, что-то бормочет, снимает фуражку и тут же снова водружает ее на голову:

– Надо было... обратиться. Обращайтесь всегда. Все, что могу, – сделаю!

Зачем я соврал про Осу и его несуществующего дружка-приятеля с линзой? Если участковый спросит о том же Мухамеджана Хамраева, то... Что расскажет сам Оса? Не важно. Просто выведет наглого врунишку-майду на чистую воду, а потом еще и надает тумачков. Закатает в старый ковер, оставит задыхаться в подвале. А участковый! Ему ничего не стоит засадить меня в тюрьму! Мальчишки девяти лет должны бояться участкового и лезть под стол или в кладовку, едва

лишь тот появится поблизости.

Но я не боюсь.

Потому что боюсь совсем другого: оказаться слабаком.

Если такое вдруг случится, черная дыра втянет меня обратно. Туда, где поджидают ржавые гвозди, готовые впитаться в тело и мучить, мучить! В черной дыре не продохнешь. Сделаешь что-то не так, подумаешь – и вот уже тебя рвут на части гигантские лопасти. А обжигающе холодная материя плюется сгустками прямо в лицо.

Черная дыра никуда не делась: висит туманным облаком за спиной мамы и толстяка. Заняла место эстампа «Зимний вечер», а сам вечер куда-то исчез. Черная дыра – коварный и всесильный враг, невозможно послушаться ее. Она отняла у меня птичку-красноголовку.

Она – враг.

Но и друг тоже. Я откуда-то знаю это. Случись что – она защитит меня от Осы, не позволит надавать тумачков и закатать в ковер. Случись что – она посадит в тюрьму толстяка Санжара и братьев Аббасовых, Улугмурода и Орзумурода, и... кого угодно!

Она может все!

– Ну, сынок, продолжай. – Санжар-ака ласково смотрит на меня.

– Расскажи все, что знаешь, солнышко, – подбадривает мама.

– Мы шли по улице. А потом Осу окликнули.

– Кто? – Карандаш участкового застыл над блокнотом в ожидании.

– Не знаю. Какой-то взрослый.

– Совсем взрослый? Или как Мухамеджан?

– Совсем. Но он не курил.

– Это тот человек, с которым вы должны были встретиться?

– Нет.

– С чего ты так решил?

– Линзу мне не отдали. Тот взрослый окликнул его, они пошептались, и Оса ушел с ним. Вот и все. Больше я его не видел.

– Мухамеджан что-то сказал тебе, прежде чем уйти?

– Ну... Сказал, чтобы я подождал его. А больше ничего.

– И ты...

– Подождал. Но он не вернулся. И я пошел домой.

Санжар-ака что-то старательно выводит в блокноте, пока мама не отрываясь смотрит на меня. Мама выглядит очень-очень печальной и даже испуганной. Что странно – ведь она не видит черной дыры, застывшей прямо за ней с разинутой, как у акулы, пастью.

А я вижу.

Мне хочется как-то успокоить маму, притянуть ее к себе якорными цепями и тонкими паучьими нитями. И еще чем-нибудь – вроде стебля татарской жимолости, легкого и гибкого, *никто не разлучит нас, мамочка. Никто и никогда!*

– Можешь описать того человека, сынок?

– Ну... На нем были черные брюки. И белый свитер. И волосы черные.

– Свитер?

Удивлен не только участковый, удивлена капля, снова повисшая у него на носу. Она вот-вот должна была упасть (баац!), но теперь решила повременить. Так и качается на кончике, так и качается; я сказал что-то не то?

То, то, – щерит акулюю пасть черная дыра.

– Ты не путаешь, сынок?

– Нет.

– Сейчас жарковато для свитера, а?

– Это был свитер. – Я продолжаю упорствовать. – С рисунком и надписью.

– Ты, конечно, их не запомнил.

– Почему? Запомнил. 1985 – это надпись.

– А рисунок?

– Цветок.

– Что за цветок, не помнишь?

– Ну... Он круглый. Лепестки тоже круглые.

– Мойчечак гули? Э-э... Ромашка?

– Круглый. С круглыми лепестками. Лепестков пять.

– Ну хорошо. – Санжар-ака сбивает каплю на носу карандашом. – Скажи, сынок, он кто? Ну вот я – узбек, вы с мамой – русские. А он?

– Он белый. А волосы – черные.

– Белый – это значит светлая кожа? Как у тебя?

– Белый – это белый. – Я – самый упрямый из мальчиков девяти лет.

– Хоп¹⁵, – сдается толстяк. – Выходит, он не узбек и не русский?

Ничего страшного участковый не сказал, но черная дыра уже нависла над мамой и вот-вот проглотит ее. Мне хочется закричать, но я даже не силах разлепить губы: верхняя и нижняя прибиты друг к другу ржавыми гвоздями, сколько еще гвоздей приготовлено для меня?.. Санжар-ака задает какие-то вопросы, но больше я не произношу ни слова. И черная дыра, успокоившись, отступает.

– Ну, хватит, – говорит спасенная мама. – Не думаю, что мой сын знает больше, чем сказал.

– Наверняка знает. – Отвратительный толстяк подмигивает мне круглым карим глазом, *мы еще не договорили, сынок. Но обязательно договорим.*

Почему дыра не заберет его? Вот бы забрала! Я бы и пальцем не пошевелил, чтобы вытащить оттуда толстяка!

– Правда ведь знаешь, сынок? – Голос участкового звучит примерно так же, как звучал голос Осы, прежде чем тот отобрал у меня линзу.

Я изо всех сил трясу головой, что должно означать уже сказанное мамой. А может, что-то другое, из-за чего детей показывают докторам. Мне не хватает воздуха, точно! –

¹⁵ Ладно, хорошо (*узб.*).

гвозди не дают мне дышать. Скорей бы они вывалились, отстали от меня!

– Не возражаете, если мы встретимся еще раз, уважаемая? Ваш сын – ценный свидетель. Может так статься, что без него следствию не двинуться дальше. А мальчик он смысленный, большая умница. Это сразу видно. Жуда чиройли!

Красавчик, да! Только что толстяк едва ли не угрожал мне, а теперь заискивает. Запихивает каждое слово в невидимые куски кос-халвы, а сверху набрасывает горстями орехи и изюм. Но маму не проведешь:

– Хотите знать мой ответ? Ничего не получится. Он ребенок. И я никому не позволю травмировать его. Ведите свое... – тут она понижает голос, – свое следствие как хотите. А нас оставьте в покое.

– Но...

– И предупреждаю вас... Нас есть кому защитить, Санжар-ака.

– Я понимаю, да, уважаемая.

Счищая с длинных редких зубов ошметки кос-халвы, толстяк задом пятится к прихожей. Мама следует за ним. Они еще о чем-то говорят, стоя у двери, и это – странный разговор.

– Ты мужчина, – наставляет милиционера мама строгим голосом. – Так что не будь слабаком.

– Не буду.

– И сохрани тайну.

– Да.

– Не будешь?

– Нет.

– Сохранишь?

– Да.

Раз за разом они повторяют эти фразы, в одной и той же последовательности; меняются лишь интонации – от шепота к крику. Да-да, через минуту они уже кричат друг на друга. С такой яростью, что я плотно прижимаю к ушам ладони. Лишь бы не слышать этот крик. Но он никуда не девается, он продолжает звучать в моей голове.

Все это – в моей голове.

– Солнышко? Все в порядке, солнышко?

Это мама, она вернулась в комнату и теперь крепко обнимает меня. Я снова оказываюсь под навесом ее подбородка, способным защитить от любых напастей: якорные цепи тихонько поскрипывают, паучьи нити нежно звенят.

– Он больше не придет? – спрашиваю я.

– Не придет, не волнуйся. Я тебе обещаю.

– Оса – не мой друг.

– Я знаю. Я люблю тебя, малыш. Почему бы нам не поехать в горы, к папе?

– Правда?

– Конечно. – Мама смеется и невпопад целует меня в щеки, глаза и макушку. – Поедем прямо сегодня.

– Правда?

– Нет, погоди... Я должна еще договориться на работе. И автобус... Поедем завтра, но зато с утра. Ты рад, солнышко?

– Очень-очень рад!

– Поживем у папы несколько дней. Мы ведь соскучились по нему. А уж он как будет счастлив, ты не представляешь!

Ш-ш-ш, ш-ш-ш... Мы как будто едем в автобусе (мы не едем в автобусе, а сидим на диване), но все равно – автобус мягко покачивается на рессорах, из-под колес во все стороны летят мелкие камешки и галька. И мама (в моем любимом зеленом платье с красными розами, хотя на самом деле – это маки, хотя на самом деле это белый халат в черный горох) прижимает меня к себе и укачивает. И плетет кокон, в котором мы могли бы укрыться от всего, – из паучьих нитей, из якорных цепей. Мамино лицо прижимается к моему (здорово было бы сфотографироваться так!):

– Все хорошо, милый!.. Мы едем, едем, едем, в далекие края. Веселые соседи, счастливые друзья!..

Наша с мамой любимая песенка, безопасная, как летний день; как трава в летнем дне, как новенькая курпача... Нет-нет, я шагу туда не ступлю!

– Оса – не мой друг, мамочка! Оса – не мой друг.

Теплые (ничего нет теплее!) мамины губы касаются моей щеки.

– Если ты знаешь что-то, милый, можешь смело рассказать своей маме. И никто, никто не посмеет тебя обидеть.

Губы перемещаются к мочке уха, но они – уже не мамины.

Да и не губы вовсе: слова-личинки, которые не спеша заползают мне в ухо. И шуршат там, и потрескивают, располагаясь поудобнее. *Если ты знаешишь... можешишь... расска-заттть.*

Я знаю, кто их послал.

И я ничего не скажу. Я не какой-нибудь слабак.

Но они шуршат и шуршат.

Вот если бы маленькая птичка-красноголовка, мой единственный дружок, вернулась ко мне! Она бы выклевала все личинки из головы – и как хорошо, как славно мы бы зажили!.. Но еще замечательнее, что одна лишь мысль о вечном враге – птице – до смерти пугает личинки.

Шороха больше нет.

– Ты вовсе не обязан что-то скрывать, солнышко. Во всяком случае, мне ты можешь довериться полностью.

– Все так и было, мамочка, как я рассказал. Все так и было.

– Ну и хорошо.

Мама все еще не выпускает меня из рук, а я, уткнувшись ей в плечо, осматриваю комнату. Черная дыра наконец-то убралась, и эстамп «Зимний вечер» снова занял свое место. В нем ничего не изменилось, все те же черно-белые крыши домов и черно-белые люди. Я никогда не обращал на них внимания, я даже не помню, сколько их. Но один есть точно: в черных брюках и в белом свитере. Он стоит у окна, отделенный стеклом от всех остальных людей. От крыш и улицы. Все так и было, как я рассказал. Все так и есть – белое лицо

и черные волосы, потому что других цветов в эстампе «Зимний вечер» не существует. Но, сколько бы я ни вглядывался – так и не могу обнаружить ни надписи, ни цветка с круглыми лепестками. Выходит, я соврал? Выходит, у толстяка Санжара есть все основания, чтобы посадить меня в тюрьму, как *уччига чиккан елгончи*?¹⁶

Не успеваю я испугаться по-настоящему, как цветок, а следом за ним и надпись находятся: они искусно вплетены в узор на тарелке, которую мы с мамой привезли из Самарканда.

Адорабль. Оншонто.

– Что ты сказал, милый?

Это мама, она снова чем-то напугана. Успокойся, мамочка! Никакой опасности нет.

– Ничего. Ничего не сказал.

– Значит, мне показалось. Завтра мы поедем к папе, и все у нас будет замечательно.

* * *

...Все и правда замечательно.

И папа – замечательный, хотя и выглядит растерянным. Он совсем не ожидал увидеть нас с мамой, напротив, собирался сам приехать в Шахрисабз, на выходные; *разве не об*

¹⁶ Отъявленный лгун (*узб.*).

этом мы договаривались, дорогая?

Что произошло?

– Потом. Расскажу чуть позже... – Мама понижает голос и прикладывает ладонь к губам.

– Это... не?

– Нет-нет. Ничего, что касалось бы нас напрямую.

– Ты уверена?

– Не сейчас.

– Но это, хотя бы...

– Нас это не коснется, обещаю. И нас есть кому защитить.

– Ты преувеличиваешь возможности Наби.

Горы, окружающие обсерваторию, – зеленые. И еще немного синие. И серые – там, где заканчивается зелень и начинаются скалы. В скальные зазубрины забился снег, еще больше его на вершинах: он лежал там всегда и вовсе не собирается таять.

А здесь тепло. Даже жарко. Мы стоим посреди площадки, со всех сторон окруженной одноэтажными домиками. Домики – в целый городской квартал длиной, с одинаковыми окошками, и только занавески на них разные. А иногда занавесок и вовсе нет.

Два окна в одном из домов принадлежат папе, я узнаю их по красным петухам на белом фоне. У папы здесь «ведомственная квартира», хотя это и не квартира вовсе: две комнаты – спальня и кабинет, а завтракает, обедает и ужинает папа в местной столовой.

– Как вы добрались? – Он отбирает у мамы маленькую дорожную сумку с вещами.

– Тяжелее, чем обычно. Но ничего. Мы справились. Правда, солнышко?

Я киваю головой. Мы справились, хотя автобус сломался в пути. *Перегрелся радиатор*, сказал маме шофер, но дело тут не в радиаторе. Что-то серое и пыльное следовало за нами из Шахрисабза, то отставая ненадолго, то снова нагоняя и нагло влезая в мотор. Оно обнаружилось еще в городе, еще в нашем дворе. Он не очень многолюдный по утрам, но сегодня людей было намного больше, чем обычно. Некоторых я никогда здесь не видел и уж точно никогда не слышал крика, который настиг нас, когда мы вышли из подъезда. Крик перешел в вой и едва не сбил меня с ног. И, чтобы удержаться, я ухватился за маму.

– Что это, мам?

– Кому-то очень плохо, солнышко.

– А мы можем помочь?

– Мы не можем помочь. И никто не может.

– Совсем?

– Совсем.

Мы с мамой ускорили шаг, а потом едва не побежали (вдруг рейсовый автобус не дожидается самого послушного мальчика и самую лучшую маму?) – но крик все равно оказался быстрее. Ловчее. Он обошел нас, как заправский марафонец, обдал струей раскаленного воздуха и укатился да-

леко вперед.

– Биби, – сказал я. – Это Биби. Бабушка Осы. Ведь так?

Мама остановилась, хотя ей очень не хотелось этого делать (вдруг рейсовый автобус возьмет и уйдет раньше?). Поставила сумку на землю, обняла меня за плечи и заглянула в глаза. Что бы ни случилось, она никогда не соврет мне. Не промолчит, если я жду ответа. Иначе и быть не может.

– Да, солнышко. – Вот и ответ.

– Биби хорошая. Не то, что Оса. Лучше бы Осе было плохо.

– Не говори так.

Мама как будто забыла, что совсем недавно готова была убить Осу, который посмел обидеть ее сына. Ну что ж, мама забыла – и я не буду напоминать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.